

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 17

1989



Наталья ИЛЬИНА

**СКАЗКИ
БРЯНСКОГО
ЛЕСА**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 17

Издается с января 1925 года

Наталия ИЛЬИНА

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФЕЛЬЕТОНЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Наталья ИЛЫНА

Наталья Иосифовна Ильина давно известна советскому читателю. Ее роман «Возвращение» (книга 1-я и 2-я) вышел в издательстве «Советский писатель» в 1969 году. То же издательство в 1974 году выпустило сборник фельетонов Н. Ильиной «Светящееся табло», куда вошли фельетоны, до тех пор публиковавшиеся в периодической печати. В начале семидесятых годов Н. Ильина начала работать в жанре автобиографической прозы. В 1985 году в издательстве «Советский писатель» вышла ее книга «Дороги и судьбы», переизданная в 1988 году издательством «Советская Россия».

Эту книжку составили литературные фельетоны Н. Ильиной, написанные ею в разные годы.

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ФЕЛЬЕТОНАХ Н. ИЛЬИНОЙ

Жанры нашей литературной критики скудны: в ней редки памфлет, ирония, сатира. А как владел когда-то этим искусством Щедрин в «Отечественных записках»!

Среди постного благонравия в критике эту традицию сохранила Нат. Ильина. Ее сотрудничество в 60-е годы с «Новым миром» Твардовского началось, сколько помню, с пародии на исследование, носившей длинное ироническое название: «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести». Статья имела шумный успех и закрепила сотрудничество писательницы с журналом.

А. Т. Твардовский полагал, что при всем значении художественного раздела журнала, печатавшего романы, повести, стихи, общественную физиономию издания или его «направление», как говорили в старину, создают по преимуществу публицистика и критика. «Новому миру», его критическому разделу, Нат. Ильина пришлось, что называется, ко двору. Она никогда не писала не то что фанфарных, но даже сколько-нибудь положительных рецензий, безопасных и оттого желанных в «тылах» любого журнала. Слово «критика» воспринималось ею как-то свежо, наивно или слишком всерьез, в его начальном значении, противоположном апологетике. А это ведь редко бывает так.

Я знал одну даму-критика, прожившую очень успешную жизнь в литературе, которая гордилась тем, что за все годы ни разу не написала ни одного отрицательного отзыва. Завидное в житейском, но не в литературном смысле свойство! Нат. Ильина, напротив, оживлялась и веселела, когда на алтарь литературы можно было возложить жертву — заклать фальшь, пошлость, дурной вкус или, по меньшей мере, художочную бесцветность письма. Для этой небезопасной работы она обладала незаурядными достоинствами: образованностью, вкусом, легким пером и неженской отвагой.

Но, может быть, главная привлекательная черта ее фельетонов — особый род юмора, неожиданного, меткого и простодушного. Лишенная групповых пристрастий, она напоминает литературного ирокеза, невзначай оказавшегося на

ковровой дорожке писательского департамента, нарушает чинность и как бы игнорирует официальные репутации, оставаясь на редкость беспечной по части последствий, какими чревато уязвленное авторское самолюбие.

За это и ценил Наталию Ильину Твардовский, не раз выражавший восхищение ее критической работой, а порой и подсказывавший ей темы для литературных фельетонов. Некоторые из них читатель найдет в этой книжке и легко убедится, как ко́лок, ироничен и неотразим этот род сочинений Наталии Ильиной, в котором и до сих пор у нее мало подражателей и, пожалуй, нет соперников.

В. Лакшин

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

«Повесть о моих друзьях-непоседах» — так называется произведение Михаила Алексеева. Автор и друзья его объединены общей профессией и общей страстью к ужению рыбы.

Кто ж такие друзья-непоседы? Это известные литераторы. Автор решил рассказать читателю о том, как люди, имена которых он привык видеть в печати, ведут неприхотливую жизнь в крестьянских избах, трудятся над стихами и романами, удят рыбу, беседуют с населением... Не так-то просто жить в глухих местах после ставшего привычным городского комфорта! «...На подобный подвиг способен лишь литератор, подверженный рыбацкой или охотничьей страсти».

Сейчас мы узнаем, как живут в нелегких условиях оторванности от цивилизации Н. Грибачев, поэт С. Смирнов, брянский поэт Илья Швец и сам автор М. Алексеев.

«Надо знать Грибачева: если вы уж избрали его в свои предводители... то будьте уверены — он сделает из вас рабов, он заставит вас вспомнить, что на свете существует такая, в общем-то неприятная, но необходимейшая вещь, каковую зовут дисциплиной».

«Раб» — это, конечно, преувеличение. Автор шутит. Прозвища, которыми он награждает Грибачева, тоже, видимо, шуточные: «командир», «командор», «наш учитель», «старший товарищ», «мастер»... Но дисциплина была заведена не шуточная, и это автор убедительно доказывает.

Друзья-непоседы обязаны подчиняться строгому распорядку дня. «По графику этому первую половину дня мы должны проводить за рукописями, и только уж потом, отчитавшись перед командиром, могли отправляться на реку или там на озеро».

Хотя перед командором не мальчики, а мужи, вполне зрелые литераторы, их заставляют вот даже в творчестве отчитываться. Непременно ли надо читать вслух написанное? Или позволялось просто сообщить: написал, дескать, сегодня столько-то? Но командор не верит на слово. Когда один из друзей, сбегав раньше времени на реку, оправдывался тем, что не нашел подходящей рифмы, командор устраивал ему «изощренную пытку» — требовал сейчас же прочесть это незаконченное стихотво-

рение. Тот читал, а наш учитель не оставлял от сочинения ни одного живого места».

«Пытка» — это, конечно, шутливое преувеличение. Однако стоит вообразить, как взрослый мужчина мнется и краснеет под неумолимым взглядом «холодных глаз мастера», как, запинаясь, читает свои неудавшиеся стихи, — становится ясно: не такое уж это преувеличение. Строг командор! И следит он не только за успеваемостью, но и за поведением друзей-непосед.

«Выпили по одной. Илья Швец вознамерился было налить по второй, но Николай Матвеевич демонстративно опрокинул вверх дном свою рюмку. Илья конфузливо убрал руку с бутылочного горла, вздохнул и первым вышел из-за стола».

Читатель догадывается, что и остальные непоседы последовали примеру Швеца: выпить по второй под взглядом командора не решился никто. Попытка выпить по второй была однако сделана позже, «в затишке», под укрытием ракитового куста, когда взор начальника был прикован к поплавку. Стоило, значит, на минуту выпустить этих шалунов из-под присмотра...

«Было воскресенье. Хотя в графике нашем и не значилось выходных, мы все-таки один выходной устроили. Мы — это Сергей Смирнов, я и Швец, но только не Грибачев. Видя, что ему не справиться с коллективной самоволкой, он сразу же после завтрака удалился в свою избу и с подчеркнутой яростью затарахтел на машинке».

А вырвавшиеся на волю друзья убежали к речке, наловили рыбы и устроили пир. «...Мы провожали в себя одну рюмку за другой и очень быстро поняли, что ограничиться одной кастрюлей ухи и двумя пол-литрами никак не сможем». Послали за подкреплением. «Тут уже веселье стало совсем бурным. Сначала пели разные песни, а потом пустились в пляс на своем лужке-бережке. Мы резвились и не знали, что командор наш сидит с удочками напротив, по ту сторону Сева, и сердито наблюдает за нашими милыми шалостями. Он будто заранее знал, чем они кончатся...» И действительно, шалости кончились плохо. «Кувыркаясь на поляне, мы с Ильей не видели, как ушел куда-то Сергей Смирнов. Затем мне показалось, что кто-то бултыхнулся в воду...»

Автору не показалось. В самом деле — бултыхнулся и сломал ногу о поженное дерево...

Живо описана эта дружеская попойка на лужке-бережке, не правда ли? Так понятны, так человечны слабости друзей-непосед: выпили, показалось мало, еще выпили, пели, плясали, кувыркались, один из друзей, будучи нетрезвым, ногу сломал — разве не с каждым из нас подобное случается? Это авторская интонация как бы звучит в подтексте, успокаивая внезапно задумавшегося читателя...

А читатель задумался вот над чем... С какой все-таки целью решил-ся автор изобразить себя самого и друзей своих, людей небезызвестных, эдакими резвыми шалунами?

Вот как рисует автор брянского поэта И. Швеца: «После первого завтрака надо было бы усесться за письменный стол, а он два часа тайно просидел с удочкой на берегу Сева... Будучи уличенным... он долго отпирался, лгал самым отчаянным образом...» «Илья не приучил себя подолгу корпеть над строкою, копаться в груде словесной руды «единого слова ради». Какое подвернулось, он тому и рад». Автор сообщает и вот что: «...По правде сказать, я был также недоволен Ильей: забрав весь мой пескаринный улов, он мог бы оказаться не такой свиньей, а покликать бы и нас к своему удачливому месту». Но зато Илья Швец добродушен. Починил кое-что в хозяйстве двух сестер, местных жительниц, в избе которых остановился. И интонация автора шутивая: ты, дескать, братец, хоть и свинья, но все же симпатичная...

Однако к чему же все-таки наш автор выносит на страницы печати эти интимные клочки, эти дружеские попреки? Почему он решил показать друзей своих, фигурально выражаясь, без галстуков?

Автор сознается, что, приезжая в село с рюкзаком и удочкой, он поначалу испытывает «мучительную неловкость». «...Как ты докажешь людям, которые от зари до зари заняты совершенно определенным и всем понятным и всеми видимым делом, что ты тоже не бездельник, что твое занятие также нужно, также необходимо?.. Сельский житель любит книжки, но он несокрушимо убежден, что пишутся книжки в городе, а в деревне должно пахать землю, сеять хлеб, доить корову и рубить дрова. Требовалось какое-то время, чтобы растаял ледок этой подозрительно-удивленной настороженности со стороны крестьян, чтобы они поняли наконец, что книжки пишут обыкновенные люди, а не апостолы Павлы и Савлы».

Итак, значит, сельский житель как-то не улавливает связи между книжками, выставленными в витрине книжного магазина, и лицами, которые ходят мимо окон с удочками и выпивают на лужке-бережке. Автор же хочет, чтобы сельский житель эту связь уловил. По-видимому, новая повесть М. Алексеева — это нечто вроде моста, переброшенного от книжного магазина к лужку-бережку. Решив доказать, что писатели, право, не так уж отличаются от прочих смертных, М. Алексеев изображает ужение рыбы, прогулки и развлечения группы литераторов. Не апостолы мы, а люди! И выпить любим, и пошалить, и дисциплину блюдем, и отчетом начальству обязаны, ну совсем как вы, совсем как вы!

И, верный этой задаче, наш автор спешит «утеплить» образ командора. Этот человек со светлыми холодными глазами, «привыкший больше советовать, чем советоваться», заставляющий ходить по струнке не-

молодых литераторов, даже он, даже он, оказывается, не какой-нибудь небожитель, архангел с карающим мечом, а обыкновенный смертный.

«...Очень многие люди... внешнюю его колючесть и суровость принимают за чистую монету — за признаки его якобы несокрушимо-железного характера». Это не так, оказывается! «В иные минуты Грибачев бывает трогательно-беззащитен и нежен».

Доброе, ласковое сердце бьется под этой суровой внешностью! Из литературы известно, что такие люди очень застенчивы, скупы в проявлениях нежности. Днем командор строг, неприступен, неумолим, устраивает головомойки, наказывает, а вот ночью... «ночью два раза подымался и поправлял на моих ногах сползающее одеяло».

Маленькие слабости, встречающиеся у больших людей, не унижают этих людей, а, напротив, делают их милее, привлекательнее, ибо приближают к обыкновенным смертным. Есть такие слабости и у командора. Он, вообразите, немного завистлив! «Илья в первые же десять минут подцепил такого голавля, что мы все ахнули. Грибачев не ахнул, а насутился».

А как он кричал на драматурга Козина, когда тот выловил огромную щуку! Из одной только зависти кричал! «...Раздалась такая ругань, что мы даже испугались». И ругаться, вот видите, умеет не хуже других!

Не один только трепет, но и теплое сыновнее чувство должен внушить командор читателю! Но автор наш — человек увлекательный. У него прорывается вдруг, что в спорах командор «напирает больше на теоретические выкладки, которые не всякий раз вяжутся с тем, что видится нам и невооруженным глазом».

Как отнесутся друзья-непоседы и их командор к тому, что автор решил перечислить в печати все их маленькие слабости? Но утешить и примирить с повестью их может вот что: автор и себя не щадит. Он сознается, например, в том, что некоторые болезни, и в частности радикулит, воспаление нервных отростков, причиняющее мучительную боль, вызывают у него, у автора, смех...

«И когда бедный Илья зывал о помощи, я самым нахальным образом ухмылялся...» «Илья от времени до времени глубоко постанывал, поскуливал, а меня распырал смех».

Смешливость эта при виде страданий ближнего и изумляет и огорчает читателя. Но он не успевает над этим задуматься. Дальше автор предстает в свете уж совершенно неожиданным:

«Прелесть Десны начинается с ее имени. Какой изначальный смысл заключало это слово, теперь уж знают немногие, как немногие знают, почему Волга — Волга, Днепр — Днепр, ракета — ракета, а тополь — тополь. Не знаем мы всего этого, но при всем том отлично чувствуем пленительную красоту таких названий».

Но почему же, почему не знаем? Очень многие знают, что славянское слово «десна» означает «правая» (вспомним «десницу» и «одесную»). При наличии дома словарей нетрудно узнать и многое другое, в частности происхождение слова «тополь».

«Даже города с окончанием на «тополь» хранят для нашего уха, а еще больше для души неизъяснимое очарование. Пускай ты не родился в Мелитополе и в Севастополе, не освобождал этих городов, но при одном их имени на душу твою непременно прольется некий светлый и теплый ручеек. И все это колдовство — в слове «тополь», только в нем, уверяю вас».

Нет, куда клонит автор? Он неспроста, конечно, притворяется, будто не знает, что слово «тополь» никакого отношения к названиям городов не имеет. Каждый помнит со школьной скамьи, что есть окончание «поль» от греческого «полис» (город, государство). Отсюда и Константинополь, и Адрианополь, и наши Симферополь, Ставрополь, те же Севастополь с Мелитополем...

Зачем же автор прикидывается невеждой? В чем дело? А быть может, это поэтическая вольность? Истина, дескать, меня не интересует, к чему это чужое слово «поль»? Хочу думать, что названия родных городов оканчиваются на родное слово «тополь»! Мне так больше нравится, и все тут. Но в этом случае делают хотя бы сноску от редакции: автор, мол, все знает, но желает думать так, а не иначе. Сноска отсутствует. Вольные упражнения автора с окончаниями подаются без всяких оговорок.

Да, автор себя не щадит. Он еще и вот что пишет: «Он, конечно, чуток поделится своим богатством (речь идет о командоре, обладающем заграничными удочками и поплавками. — Н. И.), но не прежде того, как ты выслушаешь в свой адрес бездну всяческих упреков... Ты поймешь наконец... что тебя надобно еще долго и тщательно чистить от разных сучков и задорин, но и твое счастье, что ты попал в руки такого опытного и неутомимого фрезеровщика, он сделает из тебя полезную для общества вещь. Взглянув раз и два в холодноватые глаза мастера, ты вдруг и сам отчетливо почувствуешь: а что, этот делает».

Читатель растерян... Пусть самокритика, пусть недовольство собой, пусть автор просит учителя, чтобы тот сделал из него человека — это еще можно понять. Но вещь? Но уподобление себя неодушевленной детали, которую надо обтачивать на станке? Автор шутит, разумеется. Раньше он шутил со словом «раб». Теперь шутит со словом «вещь»! Какая, однако, странная склонность к самоуничижительной иронии...

Они не только удят и пируют, наши друзья-непоседы, они обязаны еще и трудиться. Дело в том, что они «отпущены из своих московских служебных кабинетов не для праздных путешествий. И командировка

наша называется не просто командировкой, а с обязательным добавлением «творческая».

Усух же — место для творчества подходящее... «Двадцать пять дворов — и ни тебе приличной дороги до райцентра, ни тебе телефона, ни тебе радио, ни тебе электричества. Увози сюда твоё вдохновение, и никто уж не спугнет его...» А кроме того: «...в деревне только ещё и можно встретить подлинно народные характеры, подлинные типы, а как же ему, литератору, без этих самых характеров, без этих самых типов!»

Но автор признаётся вот в чём: «В селе, где ты родился, где, стало быть, знают тебя с малых лет, относительно тебя не существует табели о рангах. Какой бы ты высокий пост ни занимал в городе, для односельчанина ты остаёшься Петькой, Мишкой либо Алешкой, и перед этим самым Петькой они не станут разыгрывать комедию, не укроют ни своих радостей, ни своих печалей. А что ещё литератору нужно?»

Что же, значит, не с односельчанами, а с другими сельскими тружениками общение затруднено: чины и ранги воздвигают непреодолимые барьеры? Что ж, значит, крестьяне ведут себя уклончиво, комедию разыгрывают и откровенны лишь с теми, кого звали Петьками?

Опять задумался читатель... У друзей-непосед были предшественники: писатели-охотники, писатели-рыболовы. Л. Толстой, например, И. Тургенев, С. Аксаков... Этим как-то удавалось общаться с крестьянами, проникать в их радости и печали, хотя никого из них, помнится, уменьшительными именами эти крестьяне не называли. В чём дело? Утратил, что ли, современный литератор это свойство?..

Нет, автор скромничает, разумеется. Он преодолеет барьеры и поведаёт нам о радостях и печалях населения того глухого местечка, куда автора забросила страсть к ужению рыбы. Он не рядовой рыболов. Он — писатель.

Пустеет Усух. Все больше там брошенных домов. В одной из опустевших изб наш автор устроил свой рабочий кабинет. «Отдыхая, я рассматривал семейные фотографии, почему-то оставленные хозяевами, портреты кинозвезд и разные картинки из иллюстрированных журналов...» «...В хижину мою стал часто наведываться Сергей Смирнов». Эта хижина вдохновила поэта на такие строки:

...Как сюда попали кинозвезды?
Ведь вокруг столетний Брянский лес?
Вероятно, родниковый воздух
Пробуждает к звездам интерес.

«Прочтя, — пишет наш автор, — я грустно улыбнулся. Увлёкшись эффектным образом, поэт, верно, запамätовал, что «родниковый воздух», пробудивши интерес к звездам, почему-то не задержал хозяев избы

в Усухе, что, забыв о всех благостях сельской жизни, они... подались в город».

Дальше мы читаем: «Между тем Усух жил своей обычной жизнью. Мужики — их было не больше десятка — пахали, сеяли, собирали смолу, по воскресным дням ставили жерлицы, ловили шук, пили водку, пели свои вечные песни. Женщины доили коров, топили печи, пекли хлебы, водили квасок, вскапывали огород, сажали картошку, лук, огурцы».

Вот оно! Сейчас автор расскажет нам, читателям, о жизни этого глухого местечка, где мало мужчин, где... Но автор, поставив точку после слова «огурцы», говорит дальше вот что: «Нашествие городских здоровенных верзил положило некую печать на поведение женщин... Когда же мы шагали по улице со своими удочками, женщины хихикали, выкрикивали двусмысленности, явно поощряли нас к активным действиям. Не знали бабоньки, что у нас был график, что в графике том не отводилось и минуты на дела амурные».

Напрасны были наши ожидания. Автор не захотел размышлять о судьбе пустующей деревни, где мужиков не больше десятка. Автор делает это предметом шутки. И тревожно становится на душе у читателя...

В мае 1960 года наш автор и С. Смирнов, собиравшиеся в Усух, получили оттуда открытку, подписанную И. Стаднюком: тот просил привезти как можно больше соли для вяления и копчения рыбы, поскольку «в местной кооперации не осталось ни солинки». «Я, разумеется, тотчас же поверил: ведь речь шла об Усухе». Нагруженные тяжелыми пакетами, М. Алексеев и С. Смирнов являются в Усух, друзья их встречают. «Под предлогом того, что надобно купить водки и угостить нас при встрече, поехали сначала не на квартиру, а к лавке. Она разместилась в стареньком амбаре, который каким-то образом умудрился сохранить при двадцатиградусном тепле снаружи январскую стужу внутри». Закутавшаяся в шубу продавщица встретила друзей-непосед удивленным вопросом: «Вы зачем?» «Вопрос был резонным. За прилавком не было решительно ничего, была водка, но и та почему-то пряталась под прилавком. Зато посреди магазина, от пола до потолка, высился террикон соли, завезенный сюда, по-видимому, сразу на всю семилетку. Хотелось сейчас же обрушиться на Стаднюка с бранью, но розыгрыш был столь остроумным, что мы — я и Сергей — расхохотались вместе со всеми».

Не будем оспаривать утверждения автора, что розыгрыш был остроумен. Вкусы бывают разными. Одним кажется очень остроумным вызывать по телефону пожарных, те приезжают, а пожара-то и нет. Другим эти шутки остроумными не кажутся. Но не о разнице вкусов задумался сейчас читатель, а совсем о другом...

Автор наш упустил из виду, что место-то, место, где предается веселю группа литераторов, для веселья плохо оборудовано. Сельский магазин, разместившийся в холодном амбаре. Пусты прилавки, товаров нет.

Настолько ничего нет и давно нет, что продавщица изумлена при виде покупателей. На полу — огромное количество соли. Чьи-то бесхозяйственность и головоунытие за этим, чье-то равнодушие, граничащее с издевательством.

А литераторы наши дружно смеются, и от этого громового хохота около пустых прилавков еще тревожнее становится на душе у читателя...

Когда Сергей Смирнов ногу сломал, то ввиду того, что «в Усуге никогда не было и сейчас нет врача», к поэту пригласили колдунью-шепотунью. По этому поводу больной написал шуточные стихи:

Не смотрел, как надо было, в оба.
И меня ужалила змея.
Сразу жар — и приступы озноба,
Сразу — пот по телу в три ручья.

...Мне смешно подобное леченье,
Но лишь только мысленно ворча,
Я лечусь в порядке развлечения
И ввиду отсутствия врача.

...Я вздыхал, распластанный верзила.
Я кивал с покорностью немой.
А она мне пальцем погрозила
И ушла, красивая, домой.

И автор, улыбаясь, грозит пальцем своему распластанному другу: полно, какая там змея? «Если уж кого и следовало бы винить, то скорее змея, о котором говорят с неперменным прибавлением эпитета «зеленый».

Шутит автор: поэт-то по вполне определенной причине ногу сломал, а делает вид, будто его змея ужалила! Шутит и поэт: смешно интеллигентному человеку лечиться у колдуньи. А колдунья-то молодая и красивая! Смеху-то, смеху сколько!

А попутно выяснилось, что в Усуге нет не только приличной дороги до райцентра и электричества, но и врача нет. Для развлечения и вдохновения это хорошо, а вот как для населения? И помогают ли шепоты колдуньи заболевшим местным жителям?

Но после всех этих шуток и смеха читатель уже не ждет ответа на свои вопросы, не ждет, что автор будет печалиться печальями местного населения. О своей «мучительной неловкости» и «грустной улыбке» автор только мимоходом упомянул... А тема у автора совсем другая: не

о жизни населения глухих мест эта повесть, а о том, как весело в этих местах проводить время группа литераторов. Что ж. Примем эту тему — каждый волен писать, о чем хочет... Но в таком случае не нужно было водить читателя по опустевшим избам. Не надо было таскать его за собою в сельский магазин. И с колдуньей знакомить не следовало. Не работают эти экскурсии на тему, а, напротив, уводят читательские мысли в другую сторону...

Итак, наш автор решил доказать нам, что литераторы умеют шутить и развлекаться и ничем, в сущности, от простых смертных не отличаются. Но тут же спешит добавить: а все же отличаются! Другие бы просто веселились, а писатели еще и пишут. И едут в глухие места не только затем, чтобы рыбу ловить, но и общаться с «подлинно народными характерами».

На деревенском празднике автор услышал «щемяще-пронзительно-горькую песню», тут же ее записал, и «теперь она полностью воспроизведена в последней моей повести». Евфросинья Дороев娜, умная, старая женщина, много на своем веку повидавшая, рассказывает автору о своей молодости. «Короткую ее исповедь я впоследствии слово в слово перенес в повесть «Хлеб — имя существительное». Та же Дороев娜 подсказала автору концовку для главы, долго ему не дававшейся: «Была Вишенка, да птица склевала». Встретился наш автор с лесничихой — и ее рассказ вставил в данную повесть.

На литературном вечере в Суземке, где выступали друзья-непоседы... Кстати! Сергей Смирнов выступал вскоре после злополучного падения в реку. «То, что он вышел на сцену с костылями, прибавило к личному его, всегда неотразимому обаянию еще нечто героическое». Героическое? Ах, опять что-то не то говорит наш увлекающийся автор! Но вернемся к вечеру в Суземке. Среди публики был старик, который дал литераторам мудрый совет: «О чем не подумал — про то не расскажешь; о чем не поплакал — про то не споешь». Автор вздрогнул от этих слов: так точны, сильны и глубоки они были. «Отыскался наконец эпитаф к «Вишневому омуту!».

И действительно, очень мудр совет неизвестного старика — ах, если бы все писатели этому совету следовали!

Но тревога, которая давно росла в душе читателя, внезапно выливается в такой вопрос: а что, если жители глухих мест интересуют нашего автора лишь как поставщики эпитаф, концовок, песен? Увы. Текст «Повести о моих друзьях-непоседах» сам наводит на горькое это подозрение...

Автор перечисляет все деревни и села, где писался им «Вишневый омут»... Автор скрупулезно сообщает, какие эпизоды и на что именно вдохновили его самого и остальных друзей-непосед. Автор встретился со стадом кабанов, рассказал об этом Грибачеву и Смирнову, и у тех ро-

дились стихи... Стихи эти (и многие другие) цитируются... Автор считает так: о писателе, любимом народом, все важно, все нужно. Совершенно верно. Но автор нетерпелив. Он не хочет ждать, пока время решит, кто именно был любим народом и чьи записные книжки следует публиковать, а чьи не следует.

Были в нашей литературе «Записки об ужении рыбы» Аксакова, были «Записки охотника» Тургенева. В данной повести тоже говорится о том, как люди, живя на природе, рыбу ловят. Но других точек соприкосновения с классическими «записками» повесть не имеет. От нее — хотел этого автор или нет — так и веет самодовольством. И получилось вот что: частная жизнь знаменитых людей. Это жанр рекламный, у нас в России непопулярный, нераспространенный...

Дорожка почти непроторенная, отсюда ошибки, срывы, увлечения. Отсюда и то, что образы героев не удались: ведь невозможно поверить, что известные литераторы, о которых идет речь в повести, таковы, какими изображает их автор...

Он назвал первую часть повести так: «Сказки Брянского леса». Он сообщает, что всех своих друзей в сказках охватить ему не удалось. О частной жизни других знакомых литераторов (С. Шуртаков, А. Калинин, Л. Гайдай, С. Воронин, М. Годенко, В. Закруткин) автор собирает сведения повсюду во второй части.

Вряд ли друзья «охваченные» испытывают к автору чувство благодарности. И можно предположить, что «неохваченные» с большой тревогой ждут продолжения сказок.

Ну, а читатель закрывает эту повесть с чувством неловкости и за автора, и за героев его, и за редколлегию журнала со знаменательным названием: «Молодая гвардия».

1966

КАТЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

«Любопытно будет понаблюдать, как это юное существо, стопроцентный продукт нашей жизни, вдруг окажется лицом к лицу с проклятым капитализмом», — говорит в рассказе «В Лондоне листопад...» Бориса Евгеньева пожилой переводчик, обращаясь к своей жене. Переводчик едет с туристской группой в Англию. С ним едет его дочь, студентка Катя. Катиному восприятию чужой жизни и посвящен рассказ.

Англия как-то сразу, с первого взгляда не нравится Кате... Вот бродит она по улицам Лондона. «Домики-то одинаковые, а фасады квартир все разные». «Каждый хозяин окрашивает фасад в какой хочет цвет. По

мнению Кати, это «смешно немножко» и объясняется «пресловутым английским индивидуализмом».

Посетив Вестминстерское аббатство, Катя обнаруживает, что под каменными плитами пола находятся могилы великих англичан. Это не нравится Кате. Она находит это «странным». Тут следует заметить, что в России великих людей хоронили некогда точно так же: под плитами храмов, соборов...

Посетив родину Бернса, Катя размышляет над его творчеством и приходит к выводу, что Бернс «в чем-то сродни нашим Кольцову и Шевченко. Только, думается мне, Шевченко покрупнее и как поэт, и как личность».

Катя посещает Оксфорд. «Поболтать бы со здешними ребятами, узнать, какие они. Чем живут, чем дышат. Где там! Нас все время торопят, у нас расписание!» Пока туристскую группу, а с ней и Катю «водили от одного колледжа к другому», Кате «почему-то все время думалось... что не очень-то веет здесь нашим добрым золотым товариществом».

Вполне возможно, что не веет. Читатель готов с этим согласиться. Однако любопытно бы выяснить: каким образом удалось Кате установить, чем тут веет, а чем — не веет, если она не смогла поговорить ни с одним студентом?

Проходя по лондонской улице, Катя заглянула в окно. За окном — зал. В зале стиральные машины, и местные жители «сами управляются возле них со своим бельишком». Внимание Кати привлекает юная пара. Он «сердито листает потрепанную книгу». Она положила голову ему на плечо. Лицо у нее бледное, «ни кровинки», в глазах «равнодушие, усталость». Это зрелище вызвало у Кати чувство неловкости, будто она «ненароком подсмотрела чужую беду — беду, которой ничем не поможешь».

Но где беда? — изумляется читатель. Не могла же, в самом деле, Катя думать, что люди, ожидая, пока выстирается их имущество, должны водить хороводы и громко петь?

Но вот Катя посещает магазины. «Ох, уж эти магазины... где можно купить все... В них, если ты не кремневой души человек, как-то малость обалдеваешь».

Значит, хороши магазины? Однако, писательница Клавдия Семеновна, остановившись перед витриной, вот что говорит Кате: «Красиво? Соблазнительно? Человек, милая девочка, устроен весьма несовершенно, и несовершенством его природы очень уж ловко и бесстыдно пользуются здесь! Мы так не умеем, да и не к чему это нам...»

Но почему же? — вновь изумляется читатель. Очень бы даже нам к чему хорошие магазины, красивые витрины. И мы стремимся к тому, чтобы в магазинах можно было купить все! Но Катя, видимо, думает

иначе, ибо она «не могла не признать справедливости» рассуждений Клавдии Семеновны.

Дамы зашли в магазин. Там «Катюша продуманно, не спеша — хотя внутри у нее что-то дрожало — выбрала для мамы песочного цвета кофточку-джерси».

Что же все-таки дрожало внутри у Кати? Об этом автор умалчивает, и читатель волен делать предположения... А не вырывается ли здесь героиня из жестких рамок заданности? Быть может, ее внезапная дрожь при виде кофточек — это штрих, родившийся непроизвольно? Вообще говоря, не слишком ли большую нагрузку взвалил автор на хрупкие девичьи плечи? Оставит ли Катю в покое: нравятся ей кофточки, привлекают витрины — и бог с ней! Разумно в конце концов заметила Клавдия Семеновна, что «ничего крамольного в этом нет».

Но автор неумолим, и Катя берет себя в руки. Сейчас она кое-что разъяснит читателю относительно пресловутого западного сервиса. Вежливость продавцов, конечно, приятна, так-то оно так, но... Но вот Кате пришлось вторично пойти в магазин: продавщица по ошибке завернула платье не того размера. «Платье тотчас обменяли. И с извинениями... Катюше были тягостны преувеличенные сожаления старой дамы, суетливая ее торопливость».

Как тяготит эта вежливость! И в самом деле: что случилось? Ну, дали не то платье, ну, пришлось прийти вторично — подумаешь! Извиняться-то продавщице зачем? А покупатель куда смотрел, когда ему заворачивали? Теперь явился: меняй ему! А может, он уже вещь поносил и хочет вместо нее новую получить? Этого, что ли, ждала Катя?

Так или иначе, вежливость в лондонском магазине Кате неприятна. Из-под палки она! Начальство следит за продавцами, и чуть что не так — увольняет. Вот они и трясутся.

Итак, подмочена репутация английского сервиса. Однако надо войти в положение автора. Он решил написать рассказ на скудном материале туристского вояжа, а что можно узнать за десять дней коллективных пробежек по музеям и другим примечательным местам?

Пытаясь оживить повествование, автор влюбляет в Катю молодого шофера туристского автобуса англичанина Криса. Шофер необходим и для того, чтобы хоть на один вечер оторвать Катю от группы. Шофер отрывает Катю и ведет ее в кино. Комедия, идущая на экране, глупа чрезвычайно. «Кто-то сочинял сценарий. Работал режиссер. Работали артисты. Затрачены время, деньги. И — вот что удивительно! — затрачены, по-видимому, не зря: публика в восторге. Как же это так? Что же это?..»

Понять горькое Катино недоумение можно будет лишь в том случае, если предположить: до того вечера Кате не доводилось видеть на экранах глупых комедий. И никогда не приходило Кате в голову, что

плохие фильмы иногда появляются на экранах. Кате кажется, что такое могло случиться лишь в Англии!

«Стон стоял от смеха». «Зал воет от восторга». Крис «икает». Две пожилые леди начинают «неистово кудахтать». Не смеялась, не выла и не кудахтала одна лишь Катя. Ей хотелось крикнуть: «Да уймись вы! Это же идиотская пошлятина».

Но, кроме Кати, никто не был в силах понять, что ему показывают идиотскую пошлятину. Право, можно подумать, что наша Катя участвует в развлечениях какого-то темного отсталого племени на заброшенном островке...

А ведь причина все та же: Катя связана по рукам и ногам своим туристским расписанием. Истинные беды, сложности, конфликты западного мира ей неведомы. Вот Кате и приходится то критиковать западный сервис, то изображать публику сборищем идиотов.

Еще шотландцы пришлись Кате по вкусу (не потому ли, впрочем, что были угнетены англичанами?), англичане же ей совсем не нравятся... Старуха нищенка играет на «слонявой гармошке». Служащая отеля похожа на мумию с «полубезумными глазами». Поют англичане из рук вон плохо. Одна «леди в зеленом пальто пытается подпевать русским песням», ну и фальшивит, конечно. И Темза их никуда не годится, вода в ней «свинцовая, недобрая». Собаки и те там невеселые: у встречного пуделя «грустная мордочка», у другого пса «скучающий вид». И манекены у них «тощие, длинные, надменно-курносые». Ну-с, и горчицу русскую разве сравнишь с заморской? Наша горчица крепко берет, во все суставы ударяет, а от ихней горчицы не будет этого, хотя всю банку съешь...

Впрочем, насчет горчицы — это не Катины мысли. Их высказывает (помните?) чеховский помещик Камышев в рассказе «На чужбине»... Странные, право, ассоциации лезут в голову...

Но вернемся к Кате. И переводчиков путных в Англии нет! Катин отец встречается с «белобрысым юношей», который перевел Блока. «Вы перевели «Двенадцать?» — отец настороженно смотрел на переводчика. — Но это же невероятно трудно!.. Как вы перевели, ну, скажем, такое...» Юноша смутился, что-то бормотал, чего Катюша не могла слышать».

Ответить, значит, ничего толком не мог — смутился, бормотал... Еще бы! Куда англичанину Блока понять!

«Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает!»

Но это опять не Катя. Это слова помещика Грябова из рассказа «Дочь Альбиона». Нет, не случайно вспоминаются чеховские герои! Уже первые Катины восприятия иностранцев, встреченных в зале Копенгагенского аэродрома, что-то смутно напоминали читателю, но он не мог

вспомнить — что. Теперь вспомнил... Чужеземцы на аэродроме были все «подтянутые, принаряженные», но манерны. «Малость подыгрывали». «Выпендривались». У наших-то вид не тот. На папе, к примеру, немодные ботинки, но зато «какое у него хорошее лицо — доброе, умное». Пожилой критик «весь какой-то немного помятый. И, видно, побриться утром не успел. Но какой же он славный человек — душевный, компанейский!»

Не это ли самое говорил Камышев? «Согласен, французы все учные, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет!»

Мысль изобразить столкновение юного существа, продукта нашей жизни, с чуждым миром показалась автору интересной, а возможностей написать на эту тему художественное произведение не было. Если Катя об Англии все знала заранее и не смогла ничего интересного для себя узнать о ней, то вряд ли стоило ей туда ездить.

Видимо, для придания своему произведению «художественности» автор злоупотребляет такими словами и выражениями, как «милая лукавинка», «раздумчивая грустинка», «прекрасное», которое «омывает» «суетную человеческую душу», «свет бессмертной поэзии», «холодные глаза», которые «чуть потеплели», Катя «выпорхнула из подъезда отеля», и многое другое в этом роде. Но «грустинки» не помогают. Читатель все равно не верит, что перед ним художественное произведение.

И в Катю читатель не верит.

Это, видимо, помещика Грябова загримировали под юную девушку, обрядили в платье-джерси и пустили порхать по Англии. Современная Катя, да еще «стоцентный продукт нашей жизни», как для отвода читательских глаз рекомендует свою героиню автор, так думать, чувствовать и вести себя вряд ли могла...

1967

ЛИТЕРАТУРА И «МАССОВЫЙ ТИРАЖ»

(О НЕКОТОРЫХ ВЫПУСКАХ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»)

Примечание автора.

Эта статья была написана двадцать лет тому назад. Всеми забыты романы, о которых здесь речь. Нет в живых их авторов. Сменился редсовет «Роман-газеты». Так стоит ли поминать былое?

Но вот что мы читаем в «Литературной газете» от 19.II. 1986 г.: «Сколько сетований, что нужную книгу купить нельзя, а ненужная — продается с нагрузкой, что киоски «Союзпечати» завалены «Роман-газетой»!..

Итак, хотя прошло двадцать лет, но книги, читателю не нужные, спросом не пользующиеся, продолжают издаваться огромными тиражами.

А значит — стоит поминать былое!

Представим себя пассажиром скорого поезда Москва — Ташкент.

«Поехали!» — произнес бодрый голос, и в соседнем купе раздался звон стаканов. Поезд тронулся. Оглядевшись, вы начали устраиваться, раскладывать вещи и вдруг обнаружили, что книги, которую вы рассчитывали читать в дороге, в чемодане нет. Книга забыта дома.

На первой же большой станции вы кидаетесь к киоску «Союзпечати». А вот же «Роман-газета»! На радостях вы покупаете сразу два романа и мчитесь обратно в вагон.

Там тепло, за окном — бескрайние просторы, и вам уютно, вам есть что читать! Начнем хотя бы с этого романа. Называется он так: «Солноворот». Имя автора — Аркадий Филев — ничего вам не говорит. Видимо, появился новый писатель.

ФИЛЕВСКАЯ ПРОЗА

Однако из предисловия вы узнаете, что А. Филев не новичок. Настолько не новичок, что о произведениях его как о чем-то само собой разумеющемся сказано: «филевские романы» («...особое достоинство филевского романа...», «масштаб... филевских романов...»). Это звучит совершенно так же, как «чеховские рассказы», «бунинская проза», и свидетельствует о том, что А. Филев — писатель сложившийся, со своей яркой индивидуальностью. Какая удача, что филевская проза попала наконец вам в руки и вы сможете заполнить досадный пробел в своем читательском образовании.

Вы узнаете также из предисловия, что автор принадлежит к той писательской плеяде, которая продолжает «напряженный... поиск нового в судьбах советского села»... Действие романа разворачивается на «скудных от природы полях Вятчины, Вологодчины... Нет плохой земли — есть плохие земледельцы. В этом накал борьбы... Жернового, секретаря Краснолудского обкома, и Сергея Дружинина — секретаря одного из райкомов области». А еще в предисловии вот что сказано: «Сергей Дружинин, профессор Штин, Вера Селезнева, второй секретарь

обкома Федор Янтарев, Валя Щелканова, Степан Волнухин, Игорь Порошин, Николай Кремнев — в этих людях олицетворено будущее».

Из этого списка людей будущего с двоими вы знакомитесь на первых же страницах, а третий там же упоминается. Председатель колхоза Вера Селезнева любит секретаря райкома Сергея Дружинина, но его также любит инженер Валя Щелканова, которая пока еще не появилась. На первой же странице выясняется, что Селезнева опубликовала статью, в которой ратует за клевера, и вряд ли этой статьей будет доволен секретарь обкома Жерновой... Ясно, что Жерновой против клеверов. Не за кукурузу ли он?

Намечается и еще одна любовная линия... Тракторист Игорь Порошин обучает своему делу юную Марину Кремневу, которая проходит практику в мастерской МТС. Поначалу появление хорошо одетой девушки вызвало у трактористов «иронические улыбки». «Но когда узнали, что это дочь председателя райисполкома, любители пошутить сразу притихли». Сама же Марина очень демократична. Пожилой Волнухин сунулся было величать ее по имени-отчеству, а она попросила называть ее Маринкой.

Но вас, читателя, беспокоят сейчас не взаимоотношения дочери райисполкома с коллективом, а иной вопрос... Кто такой Волнухин? Вот о чем вы задумались. Знакомая фамилия. На всякий случай вы заглядываете на предыдущие страницы и убеждаетесь, что там как раз шла речь о Волнухине. Проклятая забывчивость! Директор МТС — вот он кто, Волнухин! Страдая флюсом, обвязавшись жениным платком, шагал Волнухин, видимо, к врачу и, встретив некоего Сыромятина, остановился, чтобы высказать ему ряд мыслей о будущем колхозов...

Как же так? Только что был Волнухин, а вы о нем забыли!

Дружинин собрал заседание членов райкома, чтобы решить, кого послать на курсы, где обучают будущих председателей колхозов. Дружинин предлагает послать Глушкова. Тучный прокурор возражает. Откуда взялся прокурор? Или опять вы что-то пропустили? Ладно, читаем дальше. Кремнев кандидатуру Глушкова поддерживает. Кремнев. Кремнев. Кремнев?! А, да он же отец Марины, значит, председатель райисполкома. Новое лицо: Юрий Койков, второй секретарь райкома. Дружинин предлагает ему ехать на курсы, а Койков отказывается. Кремнев его стыдит. Больше того: позорит! А Койков ни слова в ответ, только краснеет. Это неспроста, конечно. Причины отказа Койкова и той покорности, с которой он выносил нападки Кремнева, несомненно, выяснятся позже. На курсы вызывается ехать сам Кремнев. Его жена в ужасе. Кремнев немолод. Нездоров. («О контузии уже и не вспоминаешь? У председателя колхоза должно быть железное здоровье...»).

Но Кремнев не сдастся, едет в Краснолудск на курсы. Там с ним учится и бойкий интеллигент Платон Забазных: образование филологи-

ческое, в агрономии не смыслит ничего, цитирует то Гёте, то Архилоха; и ясно, что он развалит хозяйство первого же колхоза, куда его назначат... На лекцию профессора Штина является сам Жерновой.

Профессор хотя и дрогнул, завидев начальство, хотя и объявил торжественно: «...к нам прибыл Леонтий Демьянович» — а все-таки профессор душою тверд. Клевера отстаивает. Дескать, с клеверами умру. «И пусть мои ученики сплетут мне из них венок». Жерновой в ответ шутит: «...но разрешите вплести в него початок кукурузы». Ну, конечно, он за кукурузу. Так вы и знали. Что-то будет дальше.

Начало лета, в разгаре «праздник песни». Дружинин вызывает ревность Вали тем, что торчит около Селезневой. Валя давно уже ревнует его к Селезневой, из-за этого и ссора. Но вскоре примирение состоялось.

Внимание! Появляется новый персонаж. Это Одинцов — начальник стройки. На стройку уходят колхозные кадры и в том числе два плотника из колхоза Селезневой. Та явилась к Одинцову и требует, чтобы он плотников вернул. Одинцов не соглашается. Селезнева настаивает.

Как, право, странно! Ведь действие происходит не во времена Чичикова и Собакевича, когда обменивались плотниками и дарили друг другу кучеров. В наши дни плотники сами вольны выбирать, где им работать. Тем не менее Селезнева очень горячится, требуя обратно свои кадры. Одинцов в конце концов уступает. Интересно: как взглянут на это плотники?

Покончив с плотниками, Селезнева и Одинцов беседуют о сирени. Он эти цветы не любит, с ними связаны тяжкие воспоминания. Этим воспоминаниям Одинцов предается после отъезда Селезневой. Его, оканчивается, покинула жена. Ах, недаром он вспомнил о жене! Не затронула ли пылкая Селезнева его сердце? Не заменит ли Одинцов ей Дружинина, который вот-вот женится на Вале?

А Дружинин и в самом деле женится! К воротам щелкановского дома подкатили две «Победы». В машинах — жених, а также Ромжин и Кремнев с женами. «По старинному обычаю Дружинин шутливо называл одного тысяцким, а другого — дружкой». По тому же обычаю родственники и гости Щелкановых заперли ворота и приезжих не пускают. Тут жена тысяцкого, знакомая с обычаями, звонко запела: «Ехали мы полями, зелеными лугами, по сухим вереям. Доехали до двора, как до терема. У этого двора дверь стеклянная была, заскочила туда куна...»

«Не дадим ловить нашу куничку, не дадим!» — орут в ответ щелкановские родственники и гости и допрашивают приезжих: кто, мол, такие? «Мы люди добрые — райкомовцы да райисполкомовцы!» — отвечают по-старинному приезжие. Невесту называют уже не «куничкой», а «лебедушкой» — видимо, по-старинному можно было и так и эдак. Вот она и сама выплыла на крыльцо — «настоящая лебедушка». За ней шест-

вуют ее родители с хлебом-солью. Секретарь райкома Дружинин, которого теперь уже запросто кличут «лебедем», отведал хлеба-соли, попотчевал невесту, и вот двор опустел, зато из дома несутся крики «горько!»

Очень живо описана эта свадьба... Да, но откуда взялся тысяцкий по фамилии Ромжин со звонкоголосой женой? Листаем назад. Ну-ка, а кто присутствовал на заседании бюро райкома? Прокурор там был, бесследно исчезнувший. Красневший Койков. И Кремнев, который уехал на курсы и вот уже вернулся. А Ромжина не было. Э, да вот он! «Дружинин открыл праздник песни и предоставил первое слово председателю райисполкома Ромжину». А на другой странице митинг открыл Ромжин, предоставив первое слово Дружинину. Ромжин, значит, после отъезда Кремнева стал предрайисполкома.

Едва вы прояснили вопрос с Ромжиным, как на страницах романа возникает «начальник сельхозуправления Пекуровский, недавно рекомендованный на эту должность Трухиным». Боже, а кто такой Трухин? Опять вернемся назад. Спокойно, спокойно, времени много, ехать еще долго... Трухин, Трухин... Нашли. Вот эта страница: «Начальник сельхозуправления Трухин...»

Раньше, значит, он возглавлял сельхозуправление, а теперь — Пекуровский. Сосредоточимся: на одной странице два совещания — межобластное и пленум обкома. Непременно замелькают новые фамилии. Вот, пожалуйста. Янтарев. Второй секретарь обкома. Пекуровский во всем поддакивает Жерновому, который против клеверов и за кукурузу. А Янтарев мужественно противостоит Жерновому и поддерживает председателей колхозов. Те-то понимают, что надо сеять клевера.

Внимание! Новое лицо. Секретарь обкома, ведающий сельским хозяйством, Бруснецов. Запомним. Диалог Жернового и во всем поддакивающего Пекуровского. Упоминается Трухин, который стал секретарем райкома в Фатенках. «А раньше-то был начальником сельхозуправления!» — бормочете вы, гордясь тем, что освоились в районной номенклатуре...

Вясняется: у Жернового есть жена по имени Юля. Она находится в Ялте. Когда-то Жерновой встретил свою будущую жену в кинотеатре «Метрополь», случайно сидели рядом, вышли вместе, и этот культпоход окончился свадьбой. Едва мы успели переварить данные сведения, как бац! — телеграмма: Юля скончалась. Жерновой восклицает: «Юленька!» — и на этом история семейной жизни Жернового завершается. Тем временем мелькает новое имя — Ирина. Поначалу вы отнеслись к этому спокойно: стенографистка, лицо эпизодическое, подиктуют ей, и она уходит. Но нет, не так все просто. Жерновой любит ее «хрупкими, почти девичьими плечами», и ему становится «все ближе эта женщина»... Но где, на какой странице впервые возникла эта женщина?

В вас ли дело или это особенности «филевской прозы»? Происходит что-то странное: одни действующие лица незаметно возникают на страницах романа, не привлекая к себе внимания, и тут же исчезают из вашей памяти... О других даны какие-то сведения, вы их запомнили, но вскоре оказывается, что сведения эти лишние, ибо ни на что потом не «работают». Вы, к примеру, помните, что жена Кремнева не хотела, чтобы ее муж руководил колхозом: возраст, последствия контузии, слабое здоровье... Но Кремнева бросают в самый отстающий колхоз. Мало того. Три колхоза сливают в один совхоз, всем этим руководит Кремнев и — ничего. И ни звука больше о его слабом здоровье и последствиях контузии. Или вот Юрий Койков, второй секретарь райкома. На курсы ехать отказался, его стыдили, позорили, он отмалчивался, только краснел. Во что же это вылилось? А вылилось это в то, что Койков распоряжается судьбами тех, кто вернулся с курсов. «А мы все подработали», — говорит он Платону Кабазных, — думаем вас рекомендовать в «Восход»... Самый слабый у нас «Земледелец». Туда посылаем товарища Кремнева...» Подумать только: краснел, увиливал, уклонялся от трудностей, а теперь рекомендует, посылает, распоряжается... Но изумляет это только вас, читателя. В романе же о поведении Койкова сказано как о чем-то само собой разумеющемся, будто это норма, что тот, кто похуже, распоряжается тем, кто лучше...

Вы запомнили, что начальник стройки Одинцов не любит сирени, а любит лиственницы, ибо под лиственницей «были прочитаны с Еленкой первые книги» и лиственница «была свидетельницей и первых их поцелуев». На что «работают» первые поцелуи Одинцова, с чего он вспомнил о них? Добро бы он еще в Селезневу влюбился (вот и нахлынули воспоминания!). Но он не влюбился. Селезнева приехала, поговорила о плотниках и уехала.

Селезнева идет вверх по служебной лестнице, и вот она уже председатель облисполкома, и внезапно вы узнаете, что Валя Щелканова своим счастьем обязана Селезневой. Эти сведения вы почерпнули из краткой беседы Дружинина и Селезневой. «Но ведь ты сама, Вера, так решила, — будто оправдываясь, — сказал он. Итак, Дружинин женился на Вале, ибо так решила Селезнева. Реши она иначе, он бы не женился. Уж не говоря о том, что Дружинин предстает тут в странном свете, интересно бы еще и выяснить: где говорилось раньше об этом решении Селезневой?

Но вы уже не в силах рыскать по страницам. Вы читаете дальше, и будь что будет... Пусть звонит Жерновому какой-то Лазуренко, пусть возникает на страницах «уполномоченный по заготовкам Ховшанов...». Пусть. Вы заранее убеждены, что ни с Лазуренко, ни с Ховшановым больше не встретитесь, речей их не услышите, и не желаете тратить сил на запоминание их имен... На эти детали вы махнули рукой. Основное

зато вам ясно: волонтеризм Жернового приведет к кошмарным последствиям. Невзирая на протесты Янтарева, Дружинина, Селезневой, профессора Штина, на предупреждения простых колхозников в лице старика Сократыча, — Жерновой гнет свое. И вот уже молодняк в погоне за процентом зачисляется в сверхплановую поставку, и режут маточное поголовье... Селезнева лично посетила рынок, убедилась, что колхозники распродают мясо, и вообще происходит что-то ужасное... Жерновой же ничего не жаела слушать. Говорят ему ученые — он ноль внимания. Ему сотрудники — он плюет. Он одно знает: гонится за процентом. Слово «показуха» мужественно бросила ему в лицо Селезнева, но и это на него не подействовало. Трудно сказать, к чему бы все это привело, если б не статья в центральной печати. Очень правильная статья, и подписана она Дружининым. Затем на место Жернового садится Янтарев, и солнце будто только и ждало этого, чтобы повернуть к весне. «Миновал солноворот... сразу словно стало больше света и больше тепла... Дрогнули на ветвях почки.

Читать вам больше не хочется. Вам разобраться в «филевской прозе» хочется. И, глядя в окно, вы погрузились в размышления.

Больше всего вас беспокоят личные и бытовые дела персонажей: слабое здоровье Кремнева, способность Янтарева «тонко чувствовать лирические строки», воспоминания Одинцова о первых поцелуях с впоследствии изменившей ему женой и воспоминания Жернового о встрече в кинотеатре с впоследствии скончавшейся женой... Странное ощущение не покидает нас: а ведь можно и наоборот! Жерновому могла бы изменить жена, а у Одинцова — умереть. Янтарев мог бы мучиться от последствий контузии, а Кремнев — тонко чувствовать лирические строки. Дружинин мог быть счастлив с Вaley и с Селезневой мог быть счастлив. А подвернись ему Маринка — и с ней был бы счастлив. Они все одинаково хороши. Селезнева «по-девичьи стройна», у Вали «тонкая и ладная девичья фигура», она «стройна и легка»... Марина просто «тоненькая», и глаза у нее карие. У Вали же «серые с грустинкой», Вaley — прекрасная мать и хозяйка. И Марина будет не хуже. В цвете глаз вся и разница. У Ирины «хрупкие, почти девичьи плечи», но Ирина-то уже замужем. На нее можно только заглядываться. Заглядывается Жерновой. А мог бы Одинцов. И Янтарев мог бы. Ну да, он персонаж положительный, но будто положительные не заглядываются?

Можно так, а можно и эдак: странная легкость, от которой становится как-то не по себе... Зато разные соображения, там и сям разбросанные по страницам романа, не вызывают у вас никаких протестов...

Разве не прав Дружинин, что от людей «зависит и судьба урожая, и надои молока, и вообще все наши успехи»? Прав, конечно. Прав и Кремнев, утверждающий, что о человеке надо заботиться.

Ровно ничего нельзя возразить и против того, что руководителям следует советоваться с нижестоящими... Эта мысль вложена в уста безымянного старика, олицетворяющего, несомненно, глас народа: «Мужик-то побольше иного прочего знает. Только не путай его. А ведь, бывало, наедут из района, им только бы отчитаться поскорей».

Руководя и планируя, следует учитывать специфику местных условий — это ли не правильно?! «Леса, кустарники, речушки мелкие... Овец надо разводить, коров. Специализацию вводить. А нам свиней рекомендуют, кур», — говорит Кремнев.

Упомянуто в романе и о том, что сперва следует думать о базисе, а затем уж о надстройке... Бойкий Платон Забазных, став председателем колхоза, устлал свой кабинет коврами, понастроил мостики с перильцами, футбольное поле обнес железной оградой... А колхозные домишки покосились, а босые бабы на себе хворост тащат, лошадей нет... И покинув кабинет председателя, старик Сократыч размышляет так: «Культура, ведь она что? Она, братец ты мой, должна идти в ногу со всем хозяйством. На пустом месте, как вот здесь, ее не воздвигнешь. Надо вначале базу укрепить, а потом уж кошельком трясти».

Не забыто в романе и известное изречение: не хлебом единым жив человек. Выражено оно так: «Человек любит не только хлеб, но и розы. Хлеб для желудка, розы — для души». Слова эти вложены в уста случайного попутчика Жернового, некоего подполковника. Подполковник возник исключительно затем, чтобы бросить эту мысль, и, бросив, исчезает бесследно.

Какая, право, ненужная расточительность! Вполне можно было обойтись без подполковника. Насчет хлеба и роз мог бы высказаться кто угодно другой! Дружинин мог бы, Кремнев, Валя Щелканова. И тот же Янтарев. Он, кстати, тоже очень правильные слова произносит: «...дополнительными заданиями мы... подрываем веру у колхозников в справедливость оплаты труда... лишаем их материальной заинтересованности». Но это мог бы и Дружинин сказать. Или Кремнев. А насчет хлеба и роз пусть бы Янтарев сказал, зачем тут еще подполковник? Важно держаться принципа: правильные слова вкладывать в уста положительным персонажам, а неправильные — отрицательным.

А ведь вот в чем секрет «филевской прозы»! Движимый благородным желанием довести до широких масс ряд пусть общеизвестных, но всегда нужных истин, автор облек их в форму беллетристическую. У беллетристики же свои требования: необходимы действующие лица. Часть этих лиц высказывает правильные соображения, часть — неправильные. Но нельзя же им все высказываться да высказываться — не заседание это, не совещание в конце концов! Надо время от времени освещать внимание читателя личной жизнью персонажей.

Теперь понятно, зачем понадобилась встреча Селезневой и Одинцова. Не ради Селезневой. Не ради Одинцова. И не ради плотников. А только ради того, чтобы напомнить вот какую истину: если колхозные кадры материально не заинтересовать, то эти кадры в поисках твердой зарплаты будут уходить на стройки... Понятно и то, зачем вспоминает Одинцов о сирени, лиственнице и первых поцелуях. Это для освежения читательского внимания, а также для утепления персонажа.

Янтарев утеплен стихами. Дружнин — семейной жизнью. Селезнева — любовью к Дружнину. Жерновой — интересом к хрупким плечам своей стенографистки...

Высказывания персонажей — это как бы хлеб, а их личная жизнь — как бы розы. Секрет «филевской прозы» разгадан.

Но непонятно, почему общеизвестные истины, высказанные на страницах произведения, названы в предисловии напряженным поиском нового в судьбах советского села. Непонятно и то, почему к лику тех, кто олицетворяет будущее, причислена Валя Щелканова, а Марина Кремнева не причислена. Профессор Штин причислен, а старик Сократыч — нет. Но старик Сократыч, право, высказывается не хуже всех других!

И совсем уже невозможно понять, почему автор предисловия сделал прилагательное из имени автора романа: «филевский... филевские...» А. Филев не является первооткрывателем рецепта, пользуясь которым, можно превратить газетную статью в беллетристическое произведение. Рецепт давно известен, рецептом широко пользуются. Но, однако, не каждому автору, работающему в этом русле, удастся дойти со своим произведением до читателя. А. Филев оказался счастливым. И прежние свои произведения он доводил до читателя. А данный роман довел до самых широких читательских масс, ибо тираж...

Вы заглядываете на самую последнюю страницу и видите цифру тиража: два миллиона сто тысяч экземпляров.

В глазах у вас темнеет. Это, наверное, потому, что день кончился, за вагонным окном — вечер.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ НАШИХ ДНЕЙ

Пусть пассажир тоскливо глядит в темное вагонное окно, забудем о нем пока. Поразмыслим над цифрой: два миллиона сто тысяч экземпляров.

Нет, значит, лучшей возможностью дойти до читателя со своим заветным словом, как через посредство «Роман-газеты». Заветное слово

услышат два с лишним миллиона человек, купивших книжку, а также их родственники, друзья и знакомые.

Тонны бумаги, на которой можно было бы выпустить шестьдесят романов шестидесяти разных авторов, дав каждому приличный тираж в пятьдесят тысяч, тратятся на один роман. Бумага на счету, бумаги не хватает, не покрыты потребности в издании русской классики, ждут своей очереди Пушкин, Лермонтов, Гоголь... Но издательство, несомненно, утешается тем, что лучшие современные произведения нашей литературы становятся общедоступными, входят в каждый дом.

Редакционный совет «Роман-газеты» понимает всю меру своей ответственности перед читателем — нельзя же в самом деле наводнять книжный рынок произведениями не только серыми и слабыми, но даже посредственными. Это явствует из статьи В. Ильинкова, заметившего, что «достоинством широких народных масс» должны становиться «наиболее значительные произведения советских и передовых зарубежных художников слова». «Роман-газета» многого ждет от своих авторов. «Народность и партийность, актуальность и высокий художественный уровень — вот те требования, которые по традиции предъявляет «Роман-газета» ко всем писателям». (В. Ильинков).

* * *

В редакцию «Нового мира» пришло письмо от читателя А. И. Форманова из Риги: «Мне очень нравятся писатели Сибири... я обеими руками ухватился за роман Черкасова «Хмель»... Сразу скажу: этот роман не только обманул мои ожидания, но и глубоко меня возмутил». Много упреков по адресу А. Черкасова содержится в письме, и в заключение его автор удивляется, почему этот роман, создавший в читательских умах превратные представления о событиях, которые автор взялся описывать, издан в количестве трех миллионов экземпляров.

«Хмель» и в самом деле вышел тиражом в 2 976 000, заняв три выпуска «Роман-газеты». Тут наш читатель прав. Прав ли он в остальном?

СОЦИАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ

В предисловии, принадлежащем перу М. Шкерина, сказано: «Хмель» — социальная эпопея, охватывающая около ста лет — от восстания декабристов до Великой Октябрьской социалистической революции и состоящая из ярких драматических и трагических картин и сцен русской народной жизни...» «Удивительно сочно и последовательно выписаны разнообразные характеры действующих лиц — будто мы видим этих

людей наяву, слышим их голоса, проникаем в их мысли и чувства, наблюдаем их поведение в жизни».

Пойдем же, читатель, поглядим на этих людей, послушаем их голоса, понаблюдаем их поведение...

По безводной степи бредет закованный в кандалы, изнемогающий от жары и жажды бывший мичман Лопарев, декабрист, бежавший с этапа. «В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения...» В частности ему мерещилась одна прекрасная полячка... «О, Ядвига, Ядвига!.. Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах».

Знакомство произошло при обстоятельствах печальных; пани вывихнула ногу на горной тропинке и звала на помощь... И вот Лопарев вспоминает, как он бежал, а добежав, «с ужасом глядел... на ее маленькую ножку». Осмотрев маленькую ножку, он сообщил, что перелома нет, только вывих. Вывих — это больно. Понятно, что Ядвига смотрит на Лопарева, «смигивая слезы». Непонятно другое: почему она вдруг стала рассказывать о своем отце, которого погубила Россия: отец «бежал во Францию и умер там в изгнании»... Вместо того, чтобы немедленно нести пострадавшую к врачу, Лопарев объясняет ей, что Россия не виновата в несчастьях ее отца. Это цари виноваты. После чего Лопарев поведаль распростертой на земле Ядвиге, что он сам и его друзья сложи руки не сидят, а намерены «уничтожить деспотию». Тут снова разговорилась Ядвига. Она перешла на ты («Ты мой друг!»), попросила Лопарева назвать себя и, в свою очередь, сделала ряд признаний... И она не сидит сложа руки. И она состоит в тайном обществе «Братство польских патриотов», и там же состоят ее друзья, которых зовут так-то и так-то... Ядвига, однако, попросила Лопарева, чтобы все сказанное осталось строго между ними: «На огне сгори — но имена твоих братьев и сестер забудь!..» Ну, а нога-то ее как, нога? Оживленно беседующие молодые люди (она, видимо, все лежит, а он, видимо, перед ней стоит) о ноге не вспоминают, пока наконец Лопарев не спохватывается, что пора бы уже доставить разговорившуюся полячку к врачу...

Все это Лопарев и «восстанавливает в памяти», бредя в кандалах по степи. Он бормочет: «Ты слышишь, Ядвига? Я не предал вас. Ни тебя, ни Юлиана, ни Мстислава, ни Станислава». Это прекрасно, что он не предал. Очень возможно, что и она не предала, но с ней мы больше не встретимся. Лопарев же погибает к концу первой книги трилогии, что неудивительно. Дело в том, что он попал к раскольникам, в общину старца Филарета, а нравы там строгие, все время кого-то сжигают, распинают на кресте, пытаются каленым железом и бьют смертным боем.

И вот он погиб, а странности его поведения так и остаются неразгаданными. Мы сомневаемся и в том: действительно ли был декабристом этот разговорчивый молодой человек? Он рассказывает раскольникам, «как вступил в тайное общество Союза благоденствия, а потом в Север-

ное, как собирались на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся и что установили бы парламент с народными министрами.

Раскольники слушают с детским простодушием: люди они темные, что им о декабристах ни скажи — всему поверят. Откуда им знать, что конституция Северного общества, разработанная Никитой Муравьевым, упразднение престола целью не ставила. Южное общество собиралось упразднить престол, что было записано в пестелевской «Русской правде»... «Парламентом» высший орган государственной власти ни Муравьев, ни Пестель не называли и в своих документах термина «народные министры» не употребляли. Что-то, значит, совсем не то сообщает доверчивым слушателям бывший мичман Лопарев... Декабрист ли он на самом-то деле?

Главного героя второй и третьей книг эпопеи зовут Тимофей Боровиков. Этот потомок старца Филарета родился в 1895 году в темной крестьянской семье, одурманенной религиозными предрассудками. В возрасте десяти лет Тимофей срубил вершину тополя — акт бунтарский, если принять во внимание, что Боровиковы и ряд их односельчан считали этот тополь священным деревом. «Мало того, в мелкие щепы искромсал икону Благовещенья и опаскудил моленную горницу, где свершались службы тополежцев... А ведь какой рос смышленный парнишка! На девятом году читал Писание».

В восемь лет, значит, читал «Писание», а в десять сжег все, чему поклонялся. Но процесс превращения тихого отрока в бунтаря остался за кулисами повествования. Вzbунтовавшийся исчезает со страниц эпопеи и появляется вновь уже в образе девятнадцатилетнего юноши, высланного под родительский надзор, Урядник сообщает: «Прибыл по этапу на отбытие ссылки как политический преступник. Был арестован в декабре минувшего года за участие в стачке мастеровых депо, а также за хранение подрывной литературы. Состоит в подпольной партии сицилистов...»

Уже и стачки за плечами этого юноши, и тюрьма, и ссылка. Стихийно вzbунтовавшийся подросток превратился в сознательного революционера. Как же произошло это превращение?

Началась война. В селе общая растерянность. Не растерян лишь Тимофей, ибо он-то твердо знает, что надлежит об этой войне думать: «За кого воевать? За такую каторгу? За царя батюшку? За обжорливых жандармов и чиновников?»

Но вот Тимофея насильно увозят в дисциплинарный батальон, и наш герой опять исчезает со страниц повествования. Вновь он появля-

ется в образе высокого представительного офицера... У него «четыре креста на груди, один из них золотой, и три медали»...

Почему же так старался на несправедливой войне молодой Боровиков? Об этом важном этапе его жизни читатель узнает на этот раз из уст не урядника, а полковника, некоего князя Толстова, который так представляет Тимофея гостям, собравшимся у богатого купца: «...полный георгиевский кавалер, прапорщик Боровиков... Когда наша дивизия оказалась у немцев в котле, рядовой Боровиков нашел в себе силу и мужество, находчивость и смелость, чтобы обезвредить предателя... принял на себя командование батальоном и тем спас штаб дивизии во главе с покойным ныне генералом...»

Чудеса храбрости, чудеса бдительности проявил герой, а читатель снова при этом не присутствует! А ведь так хочется знать: что там делалось в этом котле? Как случилось, что никто не угадал в командире предателя и не дал себя провести лишь рядовой Боровиков? Почему все остальные проявили, сидя в котле, непонятную беспечность?

И еще любопытно бы выяснить: за какие доблести наш герой получил остальных «Георгиев», если считать, что за расправу с командиром был награжден одним крестом? Ведь, несмотря на все легкомыслие, проявленное штабом попавшей в котел дивизии, представить отличившегося сразу к четырем «Георгиям» эти штабные вряд ли могли... А впрочем, кто знает? С нашим героем все время происходят чудеса. Нескольком позже тот же полковник Толстов говорит ему: «Я настоял о присвоении вам воинского звания штабс-капитана...» Это подумать только: из прапорщика сразу в штабс-капитаны, минуя подпоручика и поручика!.. Окружающие не удивлены нисколько. Присутствующие дамы восклицают: «Браво, браво капитану!» Но дамы, как известно, не мастерицы чины-то разбирать... А вот как удалось полковнику Толстову «настоять» на этом неслыханном повышении? Чудеса здесь не кончаются... Мало того, что Боровиков — доблестнейший воин. Он, оказывается, еще и оратор, выступающий на митингах. Некий генерал в марте 1917 года сообщает вот что:

«Прапор Боровиков призывает солдат верить только социал-демократам фракции большевиков. Да-с! А все существующие партии, по его утверждению, не что иное, как обманщики народа, жрущие буржуйские пироги».

Вот какие убеждения сложились у нашего героя, и складывались эти убеждения опять где-то за кулисами. Нет, это поразительно, что о самых важных этапах духовного роста молодого Боровикова мы вынуждены узнавать то от урядника, то от полковника, то от генерала... Как пришел герой к своим мыслям, что передумал и перечувствовал — узнать нам не удалось.

Быть может, удастся увидеть Дарьюшку, героиню второй и третьей книг романа, понять, что она за человек?

Дарьюшка — дочь богатого купца, окончила гимназию, что не прошло для Дарьюшки бесследно. Окружающие только и слышат от нее:

«Плавт сказал: человек человеку — волк. Как страшно... Апре ну ле делюж...»

«Либертэ, эгалитэ, фратернитэ...»

«Помните у Данте в «Божественной комедии» на вратах ада написано: «Оставьте надежду входящие сюда».

Помнишь, у Блока: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!...»

Это, конечно, странно, что Дарьюшке в марте 1917 года известны строки из «Скифов» Блока, в то время еще не написанных... Но таких странностей в эпоху много. Тимофей Боровиков в том же марте 1917 года собирается «взять винтовку, записаться в Красную гвардию совдеповцев и рушить вековую тьму, созданную не без религии». И вековая тьма была, и религия была, но вот Красной гвардии в то время еще не было... В 1830 году в разгроме старообрядческой общины принимает участие становой пристав, хотя этой должности в те годы не существовало. Прекрасная Ядвига сообщает Лопареву о «Братстве польских патриотов», хотя действовавшая тогда в Польше подпольная организация называлась «Патриотическое общество»... Старообрядка Ефимия утверждает, что ее мать велела ей беречь иконку: «В ней мое достоиние. Писал ее иконописец Рублев...» Но в начале минувшего века о ценности икон, написанных Рублевым, еще никто не подозревал, и откуда это было известно маме — непонятно... Да всех странностей не перечислишь! Видимо, они и вынудили автора письма в редакцию А. И. Формачева задать вопрос: «Что делали люди, редактировавшие «Хмель»?»

Но мы не дадим этим странным неточностям, как бы часто они ни встречались, отвлечь себя от главного. Нас интересуют характеры, это в конце-то концов основное!

Лопарева понять не удалось. Боровикова тоже. Быть может, с Дарьюшкой мы будем счастливее?

Итак, она образованна: цитирует и цитирует... Кроме того, нежна и чувствительна. Говорит: «Никогда не помирюсь с жестокостью». Озабочена несправедливостью окружающего ее общества: «Один всегда в роскоши, кушает на серебряных блюдах... а другой, как мастеровые люди, всегда в мазуте, грязи, нищете...»

Перед нами как будто светлый образ. Но та же Дарьюшка «хочота-ла до слез», читая не ей адресованное письмо, в котором написано вот что: «И меня лупили нещадно... Били, били до полного бесчувствия. Вся спина моя волдырем покрылась».

Очень также беспокоит монолог Дарьюшки, обращенный к служанке: «У тебя шея совсем нет... И сама ты ужасно толстая... Ты почему такая толстая?»

Служанка растерянно оправдывается тем, что сестра ее еще толще: «В эту дверь не влезет». Это сообщение рассмешило Дарьюшку необыкновенно: «Не влезет? Ха-ха-ха! Как же она, ха-ха-ха, на свете живет?» «На раскатистый смех Дарьюшки примчалась встревоженная хозяйка...»

Тут, конечно, есть все основания для тревоги... Но, быть может, объяснение странных Дарьюшкиных поступков следует искать в ее безумии? Жестокий отец запретил ей видаться с любимым, затем пришло извещение о его гибели, и Дарьюшка лишилась разума.

Началось так: «Прислушиваясь к бормотанью Дарьюшки, к ее внезапному хохоту... и как она, не обращая внимания на присутствующих, задирая подол батистового платья, в которое ее вырядили утром, разглядывала свои ноги, сосредоточенно ощупывая их пальцами, Елизар Елизарович наконец-то уяснил: не в уме».

Она перестает узнавать близких. Ее сознание то проясняется, то заволакивается туманом. Но эти перепады длятся недолго, и вот уже Дарьюшка всех узнает, и окружающие говорят о ней: «Никакая она не «психическая»... Рассуждает нормально».

Не верит в безумие Дарьюшки и капитан парохода «Россия», услышав от нее вот какие слова:

«И все время думаю: куда идет Россия? Куда? Где наша счастливая пристань? Или для России нет счастливой пристани? От жестокости — к новой жестокости, да? За что?»

Мы уже говорили, что Дарьюшка цитирует то Плавта, то Лермонтова, то Данте... Капитан тоже не ударяет лицом в грязь и цитирует Шекспира: «Россия дошла до такой черты, как Гамлет Шекспира, когда задал себе знаменитый вопрос: «быть или не быть!»...» Затем этот знаток Шекспира посвящает Дарьюшке несколько строк своего дневника: «Я прячу свои мысли, она их держит на ладони. Она обнаженная... Может быть, она из будущего?»

А когда Дарьюшка заявила отцу, что «...чиновники, губернаторы, фабриканты, купцы и все насильники... грабят честных людей», то и родной отец был поражен здравостью этого рассуждения. «Эге-ге! — призадумался папаша, как бы со стороны приглядываясь к дочери». Он, однако, поместил ее в сумасшедший дом.

Какой же все-таки душевной болезнью страдала Дарьюшка? Как ее лечили? Чем вылечили?

Но внезапно выясняется, что Дарьюшка сходить с ума и не думала. «...в этом ее отчуждении повинны были люди, когда ее, доверчивую, необычную в своей откровенности, сочли сумасшедшей, не догадываясь, что она просто была в состоянии крайнего накала всех душевных сил.

Она искала участия, ответа на свои вопросы, а нашла убийственный приговор: сумасшедшая».

Прав был капитан, читавший Шекспира! Не было никакого безумия. Просто в тяжелый момент своей жизни, решив, что терять ей все равно нечего, Дарьюшка стала высказывать вслух свои сокровенные мысли. В жестоком же обществе, к которому она принадлежала, откровенности приняты не были. Это — удел будущего, вот почему, видимо, капитан и записал: «Может быть, она из будущего?»

Но чем же тогда объяснить издевательства над беззащитной служанкой? И почему искавшая участия Дарьюшка бормотала, хохотала и ощупывала свои ноги?

Вот так и остается неизвестным, была ли героиня безумна или не была. В этих условиях проникнуть в ее мысли и чувства, объяснить ее поведение совершенно невозможно.

Быть может, хоть кого-нибудь из второстепенных персонажей нам удастся понять?

Проследуем, читатель, в пещеру, где в начале минувшего века засел старец Амвросий Лексинский. Он сидит в своем укромном уголке и изучает Библию. «...за долгие годы в пещере он перечитал много библий на разных языках, каким был обучен в молодости». О старце рассказывает Лопареву старообрядка Ефимия: она познакомилась с пещерником в дни юности, и он способствовал ее духовному росту. «Амвросий открыл мне, что Библия писалась по сказаниям разных народов: египетских и вавилонских». Еще мы узнаем, что старец «познал... еврейский и греческий языки, чтоб читать Библию в первоизданности». Изучив первоисточники, старец пришел к выводу: «...разночтений множество, прелюбодеяния и скверны — как в миру навоза».

Неясно, какого рода «прелюбодеяния» обнаружил в Библии пытливый старец, но эта любознательность не довела его до добра: «...его схватили... жестоко пытали в подвалах... предавали анафеме...»

О злоключениях старца Ефимия повествует в 1830 году, когда ее сыну пошел шестой год. С отцом ребенка Ефимия познакомилась уже после катастрофы с пещерником. Путем нехитрых вычислений можно установить, что Амвросий погиб никак не позже 1824 года.

К этому времени он многое успел: ознакомился с библиями, установил, что писались они по египетским и вавилонским сказаниям, нашел разночтения, возмущился и погиб в подвалах. Если вспомнить, что первая попытка прочесть египетское иероглифическое письмо была сделана Ф. Шамполионом лишь в 1822 году, расшифровано же это письмо было и того позже, а вавилонскую клинопись удалось прочитать лишь в пятидесятых годах минувшего столетия, то успехи старца становятся совершенно необъяснимыми.

Сделаем еще одну попытку проникнуть в мысли и чувства персонажей... Вот Арсентий Грива. Этот человек с пестрой биографией возникает в третьей книге эпопеи. После революции 1905 года Гриве необходимо было скрыться, и друзья достали ему «паспорт для поездки в Мексику на имя болгарина Арзура Палло». Перед тем как скрыться в Мексику, молодому человеку удалось окончить «физико-математический факультет» и стать «талантливым математиком». В те годы Грива «мечтал о расщеплении атомного ядра и в то же время не порывал связи с партией «Народная воля», чтобы потом не стыдиться отца-народовольца».

Это странно. Дело в том, что Гриве в 1917 году было тридцать семь лет, и родиться, значит, он должен был в 1880-м. Организация же «Народная воля» в восьмидесятые годы свое существование прекратила, и, следовательно, поддерживать с ней связь Грива должен был, находясь в младенческом возрасте. Когда этот ребенок-подпольщик подрос, то стал мечтать о расщеплении атомного ядра, что тоже странно. Лишь в 1911 году Э. Резерфорд впервые сказал о том, что атомное ядро в природе имеется. А вот Гриве еще до 1905 года удалось каким-то образом об этом пронюхать. Грива знал: ядро есть. Мало того. Уже задумывался: а не пора ли его расщепить?

Загадочные персонажи в этой эпопее! Поздравим автора предисловия с тем, что ему каким-то образом посчастливилось проникнуть в мысли и чувства действующих лиц. Нам это не удалось.

Автор предисловия отметил, что в данной эпопее имеются сцены и картины. Они в самом деле имеются.

Например, такая. Дело происходит в Монако. В это гиблое местечко во время войны 1914 года явился Арзур Палло, чтобы купить оружие для мексиканских повстанцев, и единственно из любопытства забрел в игорный дом, где стал свидетелем жуткой сцены. «Да, это было нечто ужасное! Арзуру никогда не забыть ту ночь. Такое даже в игорном доме бывает не каждый год. Ну, стрелялись, тут же у стола кидались на крупера(?) с ножом — всякое бывало. Но такого!..»

А было вот что. Подполковник Юсков, помощник военного атташе в Англии и он же дипкурьер, «проиграл мундир русского офицера, проиграл дипломатический паспорт, сапоги и даже крест на золотой цепочке». В самом деле кошмар. Так и видишь, как полковник бросает сапоги на зеленый стол казино... Мало того. Разувшись, полковник пытался поставить на карту «секретнейший пакет от самого царя-батюшки на имя Пуанкаре». Ну, естественно, «крупер» и окружающие иностранцы ожились: всякому бы хотелось сунуть нос в секретный пакетец! Но вмешался Палло. Он, «будучи революционером Мексики, в душе оставался русским» и «бесчестия России» допустить не мог. И, «как всегда в подобных обстоятельствах, действовал единым ударом: «Портфель и пакет мои, и я буду играть вместо русского», — сказал он круперу по-итальянск-

ки». Общее волнение. Палло ставит на красное, затем на «церо»... Коло-со крутится. «Церо выходило крайне редко»., но наконец «церо вышло». Честь России спасена. Мундир, сапоги и паспорт отыграны. Подполковник, естественно, благодарит, плачет, в ногах валяется... А Арзур Палло ему по-русски: «Но речь шла о чести России, сэр, и вы это помните! Оставьте самобичевание, не люблю!»

Вот как решительно, смело и гордо действовал мексиканец с русской душой среди круперов и церо растленного Монако.

Не менее красочна сцена в доме архиерея Никона... Развратная же-на купца-миллионщика «...сняла сверкающую диадему... сняла с белой лебяжьей шеи жемчужное ожерелье и, как бы завершая священный обряд египетской жрицы, встряхнула головой, распуская копну волос по спине и полным плечам. Сам «жрец» босиком, в лохматом французском халате на голом теле, перетянута по чреслам, изрядно надушив цыганскую бороду... вступил в кабинет и остановился в двух шагах от жрицы». Затем они обнимаются.

«О, господи, Евгения! Жрица, ниспосланная мне языческими богами Олимпа! — едва продыхнул жрец Никон, отрываясь от пухлых и сладостно-пьянящих губ искусительницы... — Трепетно тело твое, нисполненное византийскими ваятелями, Евгения!»

Поговорив таким образом, сладострастный архиерей рвет роскошное платье купчихи. В эти минуты... «Никона не укротит даже Ниагарский водопад холодной воды. Он будет рвать, рвать с треском, кидать лоскутья в разные стороны, топтать их босыми ногами, беспрестанно повторять четыре зловещих слова: «Возолкал(!), отче; исцели, сыне!»

Причудливая смесь из языческих богов Олимпа, посылающих египетских жриц, диадемы, трепетного тела, Ниагарского водопада, византийских ваятелей, французского халата, фальшивых церковнославянизмов и босого архиерея производит сильное впечатление!

О языке эпоса автор предисловия пишет вот что: «Самобытен язык романа. Соцветие слов — как безбрежные луга и нивы после дождя под солнцем. И художник властно распоряжается этой стихией. Живая речь персонажей всегда точно соответствует характерам».

Ну что ж, пройдемся напоследок по этим лугам и нивам.

Подзаголовок произведения гласит: «Сказания о людях тайги», а главы именуются «завязками». Пристрастие к древнерусским словам оправдано, быть может, тем, что в «сказаниях» повествуется о старообрядцах. В речи тех, кто жил более ста лет назад, должны встречаться славянизмы... Так оно и есть. «Эко! Человече бог послал!», «Откель те ведомо... что зришь человеце, а не сатано в рубище кандальника?»

Уж кто-кто, а раскольники, читавшие церковнославянские книги или их чтение слушавшие, должны бы знать, что «человече» и «сатано» — формы звательные (такие же, как «боже») и возможны, следова-

тельно, только в обращении. Быть может, одни раскольники лучше знакомы с церковнославянской речью, а другие хуже? Но нет. Вот, к примеру, некий Мокей то так говорит, то эдак: «Ведаю теперь хитрость сатано...», «Хто... сполнял волю сатаны?»

Все раскольники прибыли в Сибирь из одного места, живут общиной, но говорят по-разному... Ефимия говорит «цепи», а ее дядя Третьяк — «чепи», старец Филарет говорит «цепи», а его верижники — «цепи», некто Микула говорит «цепи», а некто Ксенофонт — «чепи»...

Впрочем, дядя Ефимии Третьяк не настаивает на том, чтобы непременно говорить «чепи». Иногда Третьяк произносит это слово правильно. К примеру, на одной странице Третьяк говорит так: «...Мокея в чепи заковали». А на другой странице говорит эдак: «На барина понайдейся — на веревке будешь или цепями забрякаешь...»

Не отстаёт от Третьяка и старец Филарет: «...хочешь почтен быти — почитай другова. Алчущего накорми, жаждущего напои, нагого — одень». Казалось бы, если «другова», то почему же не «нагова»? А уж если «нагого», то надо бы и «другого»! Хотелось бы для удобства читателей, чтобы действующие лица эпопеи были более последовательны в своих речениях. Но персонажи за последовательностью не гонятся... Вот, скажем, персонаж, поименованный американским капиталистом, никак не может решить, с акцентом или без акцента он произносит слово «очень»... На одной и той же странице этот капиталист произносит «очень» тремя разными способами: «очень», «ошень», «ошинь»...

Полковник Толстов, принадлежащий к обедневшему княжескому роду, подозревает, что его дочь неспроста вышла замуж за таможенного чиновника... Дочери хочется иметь возможность глядеть на дам, «возвращающихся из заморских променажей»...

Вдова Балзаминова у Островского советовала своему сыну говорить «проминаж». Но князь-то — не замоскворецкая вдова. Князя-то, несмотря на бедность, чему-то, надо полагать, все-таки учили!

А еще князь размышляет так: «Надо сесть и подумать. Подбить итоги жития». Откуда бы князю, жившему в начале века, могло быть известно бухгалтерское выражение наших дней? Но князь не одинок. И другие персонажи эпопеи знакомы с современными жаргонизмами. Они кратко именуют психиатрические лечебницы «психичками», а безумную Дарьюшку называют «психическая»... В одном из авторских описаний встречается слово «цитрусовые», явно почерпнутое из товарных накладных наших дней. «Цитрусовые» рядом с «завязью» выглядят так же неожиданно, как «подбить итоги» рядом с «житием». Смелое сочетание славянизмов с современными жаргонными словами и выражениями даёт своеобразную окраску языку сказаний. Это ли имел в виду автор предисловия, говоря о «соцветии слов»?

«Художник властно распоряжается этой стихией», — пишет также автор предисловия, имея в виду стихию языковую... Властность действительно налицо. Рядовые писатели в своей работе опираются на объективную языковую реальность, что и ограничивает и сковывает... Автора же сказаний не сковывает ничто. Он властно вводит в текст слова, до сих пор в русском языке не бытовавшие, такие, как «городчанка», «сырица», «рабица», «поселюга», «стил»... Личное изобретение адмирала Шишкова — слово «мокроступы» — обычно употреблялось только в шутку, а в языке сказаний оно употребляется совершенно серьезно. Понравилось автору это слово, вот он его и ввел. Глагол «глаголати» испокон веков спрягался по первому спряжению («глаголешь, глаголет»)... А наш автор властно спрягает его иначе («глаголишь, глаголит»...). Обычно пишут «надулась» (в смысле «обиделась»), а автор сказаний пишет «вздულась». Вместо обычного «возвеличивать» — «навеличивать», вместо «зеро» — «церо», вместо «исполненное» — «нисполненное» — да всего не перечислишь. Автор пишет «нечистивка», а тут же рядом «нечестивец», хотя корень у этих слов тот же самый — «честь». Но корни и вся эта грамматика автора удержать не могут. Он властно обращается с языком. И если бы мы наткнулись на написание «ничистивка» — мы бы тоже не удивились. Удивляться давно уже нечему.

* * *

Читатель А. И. Формаков горько недоумевал: почему «Хмель» вышел трехмиллионным тиражом? У нас теперь есть все основания разделить это недоумение...

Но как говорил Гоголь: «Зачем же изображать бедность, да бедность...» Рассмотрим еще какое-нибудь издание «Роман-газеты», не полагаясь, однако, на случайности. Будем действовать наверняка. Вот, помнится, критика очень тепло встретила повесть, появившуюся в журнале, а затем в 1966 году изданную «Роман-газетой» тиражом в 2182400 экземпляров.

ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ

Любе Егоровой, героине повести В. Матушкина «Любаша», к началу войны исполнилось четырнадцать лет. А мать умерла. А отец ушел на фронт.

«Пришлось тогда Любаше и за отца и за мать хозяйничать. А годовком было маловато, и росточком не могла она похвалиться. И все остальные егорята — лесенкой к земле. Алеша почти вровень. Варя — тростинка худенькая, чуть повыше плеча. Марийка в первый класс пошла. А болезненный, синеватый Володя и большеголовый Васятка, крепыш и задира, — эти еще в рот глядели, еще присмотра требовали».

Повесть начинается вот с чего. Любаша так и эдак повязывает старый материнский платок. Ей надо казаться взрослее, она пойдет сейчас просить работы у председателя колхоза Флегана Акимовича.

«Их, ртов-то, как на ферме!.. Сама шеста... Большой перетерпит, а мальчк как встал, так и вопит и теребит: кусок ему подавай!»

У старика Флегана Акимовича першит в горле: жалко Любашу. И нам с вами, читатель, жалко эту девочку, в четырнадцать лет ставшую главой семьи. Нам уже понятно и симпатично намерение автора, который хочет рассказать о том, как семья, состоявшая из одних детей, несла тяжесть тыловой деревенской жизни.

Любаша будет работать почтальоном. Это известие очень обрадовало егорят, как ласково называет автор членов семьи. «Шумно стало. Счастье-то какое подвалило сестре! Даже Варя... плясать готова. А малые совсем от радости куролесить начали: кувыркатся, кричать, руками размахивать». Варе лет десять, а Марийке, Володе и Васятке — восемь, шесть и пять, по-видимому. Они не могут, конечно, представить себе тяжести труда, выпавшего на долю старшей сестры. Ей за день придется обегать четыре деревни, а с теплой одеждой неблагополучно, с обувью тоже. Но егорята в восторге. Особенно почему-то прельстило их, что Любаша, кроме писем, будет разносить и денежные переводы. Хором кричат: «И переводы денежные?!» Платить Любаше будут мало: «Елшанка и Озерное... просом и рожью. А Немишкино и Корнеево — трудодни начислять». «Но малышей это не озадачило». Малы еще, глупы. Что с них взять?

Начинаются страданные Любашины дни. Она вскакивала до свету. Потом будила остальных. «Что полегче — малышам, потяжелее — на свои плечи». Старшие идут в школу, Володя с Васяткой остаются дома, а Любаша — на почту. Сначала легко бегалось по лесным и полевым дорогам. Хуже стало осенью. И совсем уж скверно зимой. Бывало, что Любаша «упадет в снег и ревмя ревет. Вроде чуть полегчает, и снова бежит, как все равно дом свой увидела в пламени, спасти малышей рвется». Обеда-ть она прибегала домой.

Но что это был за обед! Жидкий суп, лишь для видимости заправленный каплей подсолнечного масла, да блины из тертой картошки. Отец ушел на фронт, не успев поставить новую избу. В старом, покосившемся домике переносили холода егорята, и пока Флеган Акимович не подбросил топлива, совсем скверно приходилось. «Замахрились белым инеем углы в избе... Утром встанут малыши, остроплечие, тонконогие, и дрожат, как стебельки на ветру». Согрет этот бедный дом лишь любовью братьев и сестер друг к другу, их заботой друг о друге... Все они по мере сил трудятся. Старшие в школу ходят, уроки делают, маленькие к обеду картошку чистят.

Мужественные дети. А всех мужественнее Любаша. «Никто еще не видел даже крохотной слезинки на ее обветренных, опаленных морозом щеках. И в глазах одна синяя затаенная суровость». По виду она «тише и слабее цветка полевого синеглазого». А внутри — кремень. «То ли от родителей передалось, то ли учителя и книги прочитанные взрастили в Любаше гордость крепкую, чисто вот камень-гранит». Она всегда находила в себе силу улыбнуться тому, кому приносила письма. И «от приглашений к столу всегда отказывалась, дескать, не попрошайка». Один лишь раз изменила своему гордому правилу. Добрая женщина по фамилии Числова угостила юную почтальоншу горячим компотом и пышкой. «Раза два откусила (Любаша. — Н. И.) от пышки и незаметно ее в карман. А компот отхлебывала и вроде бы с пышкой его. Жует, жует... И очень радостно было ей от той задумки, ради которой пышку припрятала». Пышка, конечно, будет по-братски разделена между егорятами. Не умеет думать о себе эта девочка, все ее мысли о братьях и сестрах. И несомненно: все это правда. Были, несомненно, в военные годы такие вот дети...

Но что это? Мы с вами, читатель, как будто уговариваем себя любить юную героиню повести. Будто в нашем к ней отношении нет теплоты и непосредственности, а есть какая-то умозрительность. Что ж нам мешает? Ведь Любаша мало того что вынослива, горда, мужественна, добра. Она и собой прекрасна. Волнистая, «просяного отблеска» челка. Синие глаза, которые автор называет то «синие радости», то «синие просторы». А бывает в Любашиных глазах предрасветная синь...

Не эти ли «предрасветные сини» мешают нам с вами, читатель, попросту полюбить эту девочку, не синие ли просторы стоят между ней и нами? Попроще, попроще говорил бы автор о Любаше, это было бы лучше для нее и для нас! Но автор почему-то не говорит просто. Вот как он описывает такое будничное занятие, как топка печи:

«Запылал в печи хворост... И сразу — праздник, будто набежали в избу нарядные подружки: одни белее облака, другие в золотом да в луговом цветастом. Захороводили! И у каждой заветная тайна в лучистопугливых глазах».

Очень хочется пойти навстречу автору, который предлагает нам увидеть пылающий в печи хворост в образе каких-то подружек, из которых одни одеты в белое, другие — в золотое, третьи — в цветастое, причем в глазах у всех — заветная тайна... Но почему глаза? Откуда глаза? Это не говоря уже о тайне...

Но допустим, мы через это перешагнем. Не будем особенно вдумываться в пышные метафоры... Притерпимся к слогу автора, называющего письмо «огнисто-радостной восточкой», а намерение спрятать пышку для братьев и сестер — «задумкой». Спокойно отнесемся и к «синим просторам», и к «цветку синеглазому», и к тому, что глаза Володи и Васятки

похожи на «ягоды сизые, дождем омытые, солнцем насквозь пронизанные». Эти красоты критик Г. Бровман объясняет «лирико-романтическим ключом», добавляя, что образ Любаши «оваян поэтичностью». Хорошо. Допустим. Хуже другое. Нашему искреннему желанию отнестись к Любаше и другим егорятам с любовью и сочувствием мешает нечто куда более серьезное...

Любаша добра, ясна, ровна, шутлива. Послушны, терпеливы, склонны к шутке и другие егорята. Несмотря на свой нежный возраст, ни Володя, ни Васятка никогда не вопили, не теребили и куска не требовали. Раздача еды в семье Егоровых неизменно проходит в обстановке высокой сознательности и дисциплины.

Автор сообщает, что характеры у детей разные: хилый Володя любит рисовать, Васятка — задира, Варя несколько пессимистична, Алеша увлекается техникой. Про Марийку не сказано ничего, но, надо полагать, что и у нее есть свои склонности и свой нрав. Однако ни разница темпераментов, ни разница возрастов на поведении детей совсем не отражаются. Утром все как один вскакивают по первому зову старшей сестры. Радуются все разом. Плачут тоже все разом. Васятка разве что поболтливее других. И массу знает всяких слов. Вспомним, как он радовался на первых страницах повести, услышав, что Любаша будет разносить денежные переводы. Ну откуда, казалось бы, этому малышу знать такие слова? А он их знает. И не только их. Находясь в пяти-шестилетнем возрасте, Васятка вскричал: «Пускай погибну! Кто Гитлера взорвет, тому и погибнуть не страшно».

Очень интересен разговор доброй бабки Матрены, любившей егорят, как родных внуков, с маленьким Васяткой. «Живые тут?» — окликнула. «А ты, баба Матрена, тоже живая?» — спросил с печи Васятка. «А рази не видишь?» — усмехнулась старая. «А чего же ты нас поперед себя в гроб-то суешь? Мы еще малые, нам еще пожить надо», — рассудил Васятка. — Эдак безобидно». Далее бабка Матрена сообщает, что связала вареники: «Будешь в них летом на печи спать!» — «Где же еще спать? Диванов мягких у нас нет...» — находчиво парирует мальчик.

Диалог любопытен тем, что без авторских добавлений («спросил Васятка», «усмехнулась старая») нельзя было бы понять, какая реплика принадлежит семидесятилетней, а какая семилетнему. А уж в репликах егорят нет никакой возможности разобраться. Подростший Алеша получил работу пастуха. В егоровской избе — радость, все шутят: «Алеша... Командиром молочного отряда будешь!», «Алеша, тебя офицером назначили. Вот здорово!», «Алеша, а я у тебя сержантом буду!», «А я тогда санитаркой буду!», «А я разведчиком буду! Разведую, где трава высокая, туда и коровы в атаку пойдут». Про санитарку явно сказала какая-то из девочек: или Варя-пессимистка, или не имеющая особых примет Марийка. Кому принадлежат остальные реплики, мы бы ни за что не догадались,

если б не заботливость автора. Насчет «командира молочного отряда», оказывается, шутит Любаша, который уже лет семнадцать-восемнадцать, ибо дело идет к концу повести. Насчет офицера шутит Васятка, насчет сержанта — Володя.

Мало того, что эти дети не отличаются друг от друга, они еще и совсем не растут. Прошло пять лет. Вернулся с фронта отец, и егорята хвастаются ему старшей сестрой:

«— Она и в Елшанку носит письма, и в Озерное, и в Корнеево!
— И денежные переводы!»

Кому принадлежит первая реплика — остается неизвестным. Автор же второй реплики указан: это Васятка. Шестилетним он радовался по поводу денежных переводов и продолжает ликовать по тому же поводу, став одиннадцатилетним. Впрочем, автор по инерции все называет Васятку «малышок».

Прекрасное было у автора намерение — рассказать о детях, оставшихся в тяжелые годы без взрослых. И автор, конечно же, хорошо знаком с обстановкой, какая сложилась в деревне тех лет. А вот показать своих героев живыми не сумел. Вместо крестьянских детей вышли из-под его пера юные поселяне без возраста, без характеров.

А что же критика? А критика в лице на этот раз Н. Изюмовой вот что говорит по поводу невнимания автора к внутренней жизни персонажей: «В повести Василия Матушкина нет «сложности» психологических ассоциаций, «раскованности» мыслей и чувств — этих модных атрибутов «современного произведения». Но зато есть гражданственность, человечность, ясность повествования. А это ли не настоящие признаки современной повести?!»

Но гражданственность сама по себе как будто не существует. Носителем этого прекрасного качества является человек. Каким же образом автору, не сумевшему показать людей, удалось «зато» показать гражданственность?

Книги невыдающихся достоинств, книги скромного значения и признаний всегда существовали и, видимо, будут существовать в литературе. И мы с вами, читатель, — не правда ли? — не поставим эту повесть в один ряд с «Солноротом» и тем паче с «Хмелем»... Однако редакция «Роман-газеты» оказала, пожалуй, автору дурную услугу. Повесть, столь высоко вознесенная, вышедшая двухмиллионным тиражом, попавшая в свет рампы, претендует уже на роль эталона, а потому заслуживает придиричвого и строгого суда. Этому суда повесть не получила. Ее расхвалили за тему, за намерение. Ее расхвалили и за язык!

Вот, скажем, что пишет та же Н. Изюмова:

«Скорее всего именно в результате вдумчивых поисков, а не в озарении родилась и сама стиливая манера повести. В ней как бы слиты во-

едино красота народной речи и поэзия деревенской жизни. И сплав получился прочный и органичный».

Характерные для былинно-сказовой манеры автора выражения вроде «вражины крылатые», фольклорное «по-над лесом», инверсии вроде «ягоды сизые» и «цветок синеглазый» перемежаются в авторской речи словами и выражениями иного рода: «И глядит с улыбкой: довольна ли адресатка обслуживанием?», «Слово за слово, и пошел Сашка раскручивать свой репертуар», «А теперь вот еще рейсик», «активничать» и т. п.

Слияние воедино «ягод сизых» с «обслуживанием», а «вражин крылатых» с «адресатками» не назовешь органичным сплавом.

Огромный тираж и критические восторги придают заурадной книге значение, ею не заслуженное.

ПО ДРУГОМУ СЧЕТУ

Итак, мы познакомились с тремя произведениями, изданными в пяти выпусках. Эти книги из лучших, наиболее значительных произведений последних лет, ибо других «Роман-газета», как не раз объявлялось, не выпускает.

И внезапно нас с вами, читатель, охватывает горькое ощущение бедности, сиротства, какой-то даже бесприютности... Будто нет у нас богатства, каким мы привыкли гордиться, — русской литературы. Будто нет традиций. Потому что если богатство есть и традиции существуют и были написаны великие исторические романы, и хорошие исторические романы, то не мог быть издан трехмиллионным тиражом и причислен к историческим романам «Хмель»... И не могли быть изданы двухмиллионным тиражом и тем самым причислены к произведениям выдающимся «Солноворот» и «Любаша»...

Как это объяснить, как понять?

В критической заметке, принадлежащей перу И. Баукова (газета «Сельская жизнь»), читаем:

«О повести «Любаша» писателя Василия Семеновича Матушкина я узнал не от литераторов... «Интересно, есть ли сегодня в газете продолжение «Любаши»?» — говорили между собой пассажиры. Я невольно обратил на них внимание. Нет, это были не литераторы».

Автор другой заметки, опубликованной в «Неделе», А. Асаркан, узнал о романе «Хмель» тоже не от литераторов. «...790 страниц чтения, рекомендованного строителями и шоферами с Арадана. Кто хоть раз побывал в Сибири, никогда не отмахнется от такой рекомендации».

Критик не отмахнулся, прочитал «Хмель» и написал о нем так:

«Лихой литературовед или непреклонный учитель словесности могут разделиться с «Хмелем» просто и безапелляционно. Похвалить его так коротко не удастся... В короткой заметке можно только поддержать рекомендацию парней с Арадана, у которых нет такого образования, чтобы проанализировать эту книгу, и нет такого опыта, чтобы разобраться в своем восприятии, но зато есть такая душевная чистота, чтобы полюбить ее, ни о чем не спрашивая».

Очень странно, что критик противопоставляет образование душевной чистоте, давая понять, что одно исключает другое... Суть, однако, не в этом. И. Бауков бросил намек, А. Асаркан высказался прямее, но мысль обеих заметок та же самая: и «Любаша», и «Хмель» вряд ли будут иметь успех среди учителей, литераторов и литературоведов. Зато оба произведения понравятся тем, кто не умеет анализировать прочитанное. Не поздоровится от эдаких похвал!

И зачем понадобилось критикам противопоставлять «парней с Арадана» учителям словесности, а пассажиров электрички (колхозников?) литераторам? Дескать, мнение одних ценно, а мнение других неважно.

Если бы оба критика сказали попросту, без противопоставлений и иных затей, что такое произведение, как «Хмель», своего читателя найдет, то на это возразить было бы нечего. И в самом деле — найдет.

Пятьдесят пореволюционных лет подняли культурный уровень масс и дали писателю аудиторию, о которой прежде нельзя было мечтать. Однако читатель невзыскательный, простодушный, не умеющий еще отличить литературу от подделки под нее, имеется.

Разумеется, есть спрос на такие произведения, как «Хмель»! Там много волнующего. Старообрядцы, которые поминутно пытаются и убивают друг друга, — надо же! Подполковник, проигрывающий сапоги в Монте-Карло, — это подумать! Развратная жена купца-миллионщика с диадемами и жемчугами. Сказочный хабрец, он же революционер, борец за народное счастье, крестьянский сын Тимофей Боровиков...

А с «Любашей» дело иного рода. Эта повесть нашла читателя, который воспринимает ее как бы через призму собственных горьких воспоминаний о войне. Вон ведь и малым детям что вынести пришлось! И не замечает читатель, что нет в произведении ни детей, ни стариков, а есть условные фигуры.

Каждому нормальному человеку свойственна любовь к своему отчеству, к его традициям, нравам, обычаям. И найдется, конечно, читатель, которому придется по душе подсюсюкивание былинно-сказовым слогом, фольклорные слова, славянизмы и все эти «тысячки», «кунички» и «лебедушки». Псевдолобук выдается за «народность», поскольку смысл данного термина известен не всем читателям.

Речь пока шла о читателе невзыскательном, простодушном. А что же критика?

«Любашу» Матушкина в печати хвалили. Хвалили и «Хмель». Мне, правда, не случилось прочесть ни одной статьи, в которой содержался бы добросовестный анализ этих произведений и где свои выводы автор статьи доказал бы и подтвердил цитатами из текста. Посудите сами. Один критик пишет, что язык романа «Хмель» «нетороплив и плавен, словно сама природа тайги породила этот ритм». Другой критик утверждает, что слог повести «Любаша» «родился на немишкинских лугах и нивах». Доказать бы эти красивые высказывания цитатами! Но цитат нет.

Всем известны слова Ленина: «Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепенностью — поднимать его развитие».

Но есть критики, которые невольно, а иные, быть может, и вольно (ложно понятый демократизм?) к неразвитым вкусам подлаживаются, им потакают.

И вот «Хмель» назван «социальной эпопеей», а «Солнворот» — романом. Но названия эти даны по другому счету, по другой как бы валюте. Есть в нашей литературе истинные социальные эпопеи, есть истинные романы. А есть и эрзацы социальных эпопей и романов. Там — для всех. А тут для тех, кто еще не умеет отличить настоящую литературу от подделки под нее. Для читателя невзыскательного сгодятся эпопеи удешевленного типа и уцененные романы...

Но еще И. Д. Сытин, действовавший в начале века, утверждал, что никакой «отдельной литературы» пониженного сорта для тех, у кого не развит вкус, не нужно. Прекрасное, настоящее доступно всем, «...пока Пушкин продавался по 5 рублей за полное собрание сочинений, он был недоступен. Но когда я стал продавать всего Пушкина по 80 копеек, а Гоголя — по 50 копеек, то спрос на книги этих писателей превысил самые смелые мои ожидания».

Если это было справедливо для населения царской России, то разве мыслимо в наше время издавать миллионными тиражами литературу заведомо сниженного качества?

Революционность — это борьба за культуру для всех. Именно в этом идея горьковской «Всемирной литературы».

* * *

А что там делает давно забытый нами пассажир скорого поезда Москва — Ташкент?

О пассажире осталось сказать немного. В последний день своего пребывания в пути он решился открыть второй роман, купленный в киоске «Союзпечати»... Но не успел. Лежавшую на столике книгу распахнул ветер, ворвавшийся в неплотно затворенное окно.

Взгляд пассажира упал на строки: «Напрасно пыталась Елена гальванизировать его стремление стать дирижером, говорила о его исключительном слухе, о способности расчлнять оркестр на отдельные составляющие, рисовала картины заманчивого будущего».

Еще несколько страниц перелистал ветер. «Когда тебе выворачивают мозги и одновременно кладут на лопатки...»

Кем он был, наш пассажир, учителем ли словесности, шофером, строителем или колхозником — неизвестно. Известно одно: он любил родной язык. И хотя прекрасно понимал, что нельзя же судить о романе по одной, двум и даже пяти фразам, но читать ему все-таки расхотелось.

Он просто сидел у окна, курил, вздыхал, думал. И вот поезд замедлил ход, замелькали станционные строения, и чей-то бодрый голос произнес в соседнем купе: «Приехали!»

1969

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ...

«Дорогие друзья! Вот стоит самовар. Я пригласил вас на чашку чая для беседы о нашей молодой литературе», — сказал первый секретарь правления Союза писателей СССР В. В. Карпов.

Беседа за чашкой чая демонстрировалась по телевидению весной 1987 года. А осенью журнал «Молодая гвардия» (№ 9) опубликовал отчет еще об одной встрече, где речь шла о том же: о «молодой литературе». Назывался отчет так: «Дискуссионная трибуна».

«Проблема молодых начинается с отношения к нам...» — было сказано на трибуне.

Какова же эта проблема? И что такое «молодая литература»? Препятствие такой категории, мне кажется, не существовало. Чем вызвано стремление отделить творения молодых от творений немолодых? И какова паспортная грань, отделяющая одних от других?

Один из выступавших у самовара сказал: «Вы посмотрите, кто здесь сидит, разве это молодые?.. Я насчитал трех человек в возрасте до 30 лет. И наверняка много народу за сорок...»

На что В. Карпов ответил, что к самовару приглашены те, «кто уже апробировал свое перо, уже встал на крыло», выпустив одну, а то и две книжки. Короче говоря, «те, кто уже завтра мог бы встать с нами рядом». Добавил, что перемены, происходящие в стране, требуют усилий во всех сферах, в том числе и в литературе. «И нужны немалые силы... Они у нас есть, эти немалые силы...»

И в самом деле! Нынче «писателями» официально поименованы более 10 000 человек. Но, увы! Средний возраст этих тысяч — около 60 лет.

Как же должны отразиться в литературе перестройка и ускорение? «Не в том, конечно, — сказал В. Карпов, — что писатели будут ручкой водить быстрее или бегать вокруг стола бегом».

Шутка. Попытка хозяина развеселить гостей, сидевших у самовара с лицами скорее мрачными. Улыбок не последовало. Тогда руководитель СП СССР продолжил свою мысль, сказав, что «перестройку и ускорение» он видит «в подключении вас. Не тогда, когда мы уйдем, а сейчас вы должны встать с нами рядом... и делать то большое дело, которое от нас ждут и народ, и партия, и история».

Итак, если средний возраст одних 60 лет, а других — 40, то эти другие и считаются молодыми. «Условно молодые», — назвала их одна из участниц дискуссионной трибуны.

Познакомившись с выступлениями тех, кто говорил у самовара, и тех, кто говорил на трибуне, я нашла у них много общего. Вот, например, полемические приемы, какими они пользуются.

У самовара было сказано так:

«...если судить Евтушенко, Вознесенского и Рождественского по тому, что они на протяжении этих лет делали со словом, то это процессы, родственные строительству Калининского проспекта или созданию проекта поворота рек».

Проследим за полетом этой мысли. «Делали со словом» следует понимать так: «издевались над словом». Над каким? Над русским. Лица, не уважающие русское слово, способны надругаться и над русской стариной, и над русской природой. Этими логическими построениями оратор вышел к волнующей всех проблеме поворота рек. И намекнул: если сегодня три упомянутых поэта к этому повороту пока отношения не имели, то завтра вполне могут повернуть что-нибудь другое.

А вот как ораторы на трибуне возражали критикам, усомнившимся в художественной ценности романа В. Белова «Все впереди».

«Дело — в проявлении четкой авторской воли и последовательной гражданской и патриотической позиции... которая, видимо, не всем «по нутру».

«Не случайно в боли за свой народ... у нас многие готовы усмотреть нечто крамольное».

«Можно по-разному оценивать этот роман с точки зрения художественности, но в нем Белов хотел, говоря словами Достоевского, «вполне высказаться», сказать правду, пусть горькую, о нашем времени».

Критики, значит, обвиняются в том, что патриотизм им «не по нутру», боли за свой народ они не испытывают, и все это «не случайно»!

Однако именно Достоевский утверждал: как бы ни были превосходны побуждения автора, но если ему не удалось их выразить худо-

жественно, то произведение его цели не достигнет. Речь шла о «народных рассказах» писательницы Марко Вовчок, вполне четко, но малохудожественно выразившей боль за народ, томившийся в крепостной зависимости. Не заподозрить ли Достоевского в равнодушии к народной боли и в симпатии к крепостному праву?

Фильм «Легко ли быть молодым?» шел в свое время в Малом зале кинотеатра «Россия», а в Большом зале показывали фильм «Борис Годунов». Стоило автору одной статьи заметить, что в Малый зал стояла очередь, а в Большой зал зритель особенно не стремился, как на этого автора обрушиваются с трибуны такими словами:

«Легко ли быть молодым?» противопоставляют «фильму «Борис Годунов», на который якобы не идут зрители. На кого же в поход зовут усталую и разуверившуюся в мнимых ценностях сегодняшнего дня молодежь. На отечественную историю? На ее уроки, обнаженные в трагедии Пушкина?»

С помощью словечка «якобы» ставится под сомнение тот факт, что Большой зал переполнен не был. Автор же статьи, об этом упомянувший, обвинен в том, что зовет молодежь «в поход» на отечественную историю...

Но если этим молодым златоустам кажется, что они сами изобрели эти полемические приемы, то я их разуверю. Это все уже было! И прозаики, и поэты, и критики уже обвинялись и устно, и письменно в ненависти к своему народу и его истории. И словечко «якобы» в этих обвинениях мелькало. И зловещие намеки, начинавшиеся словами «не случайно...», имели место. Некогда популярные слова «вредитель» и «враг народа» из сегодняшнего лексикона выпали, они лишь подразумеваются. Подобный ораторский прием словари толкуют как подлаживание под вкусы малосознательной части масс для достижения своих целей. Прием этот стар, как мир! Если им пользовались для нападения на лиц, занимающихся литературным трудом, то цель обычно была такова: согнать этих лиц со страниц печати. И ведь были у нас периоды, когда цель достигалась! Обвиненные авторы со страниц печати исчезали. И еще слава богу, если только со страниц печати...

И те, кто выступал у самовара, и те, кто ораторствовал на трибуне, неодобрительно относятся к той оттепели, которая наступила после XX и XXII съездов партии.

У самовара: «...пережили в истории советской два трудных периода. Это когда издавали пустые книги словословия... и, с другой стороны, когда мы в 60-е годы пустили вог эту ползучую гидру фрондерства на литературный фронт...»

На трибуне: «...в период всеобщего попустительства был нанесен серьезный урон основополагающим нравственным ценностям советского народа».

Знакомые слова! Что они напоминают? А вот что: «...планомерно и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества...»

Это из письма, подписанного одиннадцатью членами Союза писателей¹, опубликованного журналом «Огонек» (№ 30, 1969 г.) и озаглавленного так: «Против чего выступает «Новый мир»?». Есть и еще совпадение. В письме сказано: «размывание идеологических рубежей», а с трибуны говорят о подмывании национальных корней...

Быть может, современные златоусты по молодости лет и невинности не знают, что их обвинения чуть не слово в слово перекликаются с обвинениями, брошенными «Новому миру» Твардовского? Дослушаем, однако, того, кто говорил о «попустительстве». Он выражает опасение, как бы наша сегодняшняя гласность «не превратилась в попустительство гласности: так вновь преуспеют те потакальщики, которые и господствовали в период попустительства».

Авторы письма в «Огонек» этих опасений не выражали. Весной 1969 г. Твардовскому не дали опубликовать поэму «По праву памяти», и к июлю — когда появилось письмо — борьба против демократизации и гласности была уже успешно завершена. Почти. Не сдавался лишь «Новый мир». И в знаменитом письме журнал обвиняют в «кошунственном» отношении к прошлому, в «глумлении» над настоящим, в «очернительстве» и «космополитизме». К февралю 1970 г. цель была достигнута: журнал был вырван из рук Твардовского и, не защищенный его именем, его авторитетом, поставлен на колени...

Чуть не двадцать лет прошло, и появляются эти, «из другого поколения», а глядите, как они похожи на тех, кто беззаветно сражался против демократизации и гласности! Можно ли в это поверить? Можно. Вот как они относятся к сегодняшнему возрождению гласности.

У самовара: «А я считаю, что нужно не критиковать, а утверждать, утверждать то, что уже есть».

«Я против критиканства, категорически против, против показания этих самых только негативных явлений».

(«Показание явлений»... Но из уст этих молодых мастеров пера мы еще услышим такие словосочетания, как «негативные пороки», и такие выражения, как «его привели в качестве критерия качества» и многое другое...)

На трибуне: «Слово должно и способно стать единящей силой перестройки. Но что для этого нужно? Разжигать ажиотаж новыми «откры-

¹ Михаил Алексеев, Сергей Викулов, Сергей Воронин, Виталий Закруткин, Анатолий Иванов, Сергей Малашкин, Александр Прокофьев, Петр Проскурин, Сергей Смирнов, Владимир Чивилихин, Николай Шундик.

тиями» давно известных и отнюдь не «забытых» истин? «Смелыми» публикациями «гонимых» прежде авторов или (?) их произведений?»

Зачем столько кавычек? А затем, чтобы сказать: открытий нет, смелости тоже нет, а гонимых авторов и вообще не было...

«Может быть, и впрямь плохи наши дела, если от писателя требуют гласности? От русской литературы ТРЕБУЮТ, для которой и в прошлом не было ничего важнее ПРАВДЫ...»

Золотые слова! Сколько в них любви к родной литературе! И ведь так и есть: стремился русский писатель писать правду. Он-то стремился, но... Стихи «На смерть поэта» Лермонтова ходили в списках, впервые опубликованы за границей. «Демон» — тоже. С романом «Воскресение» у Толстого были большие неприятности. Что же касается XX века, то у Платонова, писавшего правду, у Булгакова, писавшего правду... Надо ли продолжать?

«...некоторые редакторы, пользуясь гласностью, начали усиленно гоняться за сенсациями. Время идти вперед, вскрывать новые проблемы...»

«Скажем, разоблачение лысенковщины нужно, но национальной культуры этим не обогатить».

Значит, оратор, спасибо ему, не против разоблачения лысенковщины, но умеренного. Не романы же об этом писать!

С трибуны раздавались голоса, возражавшие против предстоящей публикации романа «Доктор Живаго». Один — на том основании, что роман этот «весьма слабый», а другой — потому что роман «уже пережеван на Западе». Не по душе некоторым и публикация прозы Набокова. По словам одного оратора, Набоков был «наиболее чтимый на Западе из писавших на русском языке». Этим знатокам Запада неведомо, что ТАМ обратили внимание на Набокова именно и только тогда, когда он ПЕРЕСТАЛ писать на русском языке.

«...нынешняя переоценка ценностей подлинных ценностей все же не касается... Пока я не слышал, чтобы кто-то восторгался новыми духовными открытиями, и сам я таких открытий не вижу... Есть ли у нас такие писатели, которые шли впереди перестройки, которые своей деятельностью подготовили ее? Есть! Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Воронин, Юрий Бондарев, Петр Проскурин, Михаил Алексеев, Иван Тарба...» и другие.

Как интересно! Трое из здесь названных были среди тех, кто написал письмо, обвинявшее «Новый мир» Твардовского в издательстве «надо всем, что связано с любовью к отчим местам, к родной земле, к деревне и почему-то особенно к русской старине». А через двадцать лет мы узнаем, что авторы этого письма готовили перестройку! Если то, к чему их деятельность привела, называть «перестройкой», становится понятно, почему для этого оратора ни поэма Твардовского, ни «Реквием» Ахматовой подлинными ценностями не являются.

В том, что звучало с трибуны и говорилось у самовара, обнаруживается немало общего. Перед нами представители одной группы? Ни в коем случае! Когда один из гостей высказал за чайным столом такое предположение, то остальные гости на него очень рассердились.

С трибуны разъяснили, что группировок среди представителей «молодой литературы» и вообще нету. Другое есть: «...противоборство двух подходов к литературе, культуре, истории, наконец, жизни, один из которых стремится привить безразличие к коренным вопросам бытия, а другой, сколько хватает сил, утверждает народные и единственно плодотворные устои».

Итак, большинство выступавших у самовара и на трибуне — это представители «подхода, утверждающего народные устои». И те, и другие просили старших, облеченных властью товарищей помогать им, молодым, эти устои защищать.

На трибуне: молодым литераторам «надо помогать. Как? Прежде всего предоставляя возможности больше и быстрее печататься. Творческому становлению молодых помогло бы и издание литературного еженедельника».

У самовара: «Та ситуация, которая сложилась сейчас в литературе с молодыми, она совершенно ненормальная... я дожил уже до брюшка и до лысины... Но вот 25 лет пребываю вроде как в молодых писателях... но для меня как для писателя ни Союз писателей, ни ЦК ВЛКСМ ровным счетом ничего не сделали».

На трибуне: «Плохо, когда молодые литераторы встречаются с равнодушием, не получают должной поддержки... дележ отпущенного «листажа» делают зачастую люди, которые видят в молодом писателе не товарища, не коллегу, а конкурента».

У самовара: «...стоит издателям поменьше бояться, тем более, мы ведь никакой аморальности не несем, никакой антисоветчины не несем. Ведь мы несем что? Новые взгляды на то, как сделать нашу страну лучше».

Просьбы молодых были услышаны: «Теперь насчет административных форм помощи. План издательства «Советский писатель» утверждается на секретариате... Мы сказали издательству: половину почти рукописей писателей уже именитых, печатающихся, из плана изымите. И поставьте молодых. Если б вы знали, сколько мы нажили себе врагов!» В. Карпов добавил, что редсовет издательства состоит из «очень именитых писателей, переживающих за судьбы литературы и за вас в том числе».

Итак, «дележ листажа» состоялся: именитых убрали, «молодых» включили. О каких «именитых» речь? Словарь Ушакова утверждает, что прилагательное «именитый», ныне устарелое, означало важное, значительное лицо и чаще всего применялось к купцам: «именитое купече-

ство». Но слово к нам возвратилось в двух значениях: в первом случае «именитый» было попросту произведено от существительного «имя», а во втором — в точном соответствии со значением, указанным в словаре: лицо важное, значительное. Слово, еще в 30-е годы названное Ушаковым «устарелым» (видимо, из-за исчезновения купечества), вновь вернулось к жизни. Ибо из кого состоит редсовет издательства? Из лиц важных, значительных. Вот им ничего не стоило выкинуть из плана почти половину рукописей, возможно, договорных. А сделано это по распоряжению еще более «именитых» — членов секретариата Союза писателей. «Листаж» поделили в пользу «молодых», называя это «омолаживанием литературы» и весомым вкладом в дело перестройки...

* * *

В. В. Карпов сказал, что на чаепитие приглашены те, на кого можно положиться, кто уже «встал на крыло», уже выпустил одну-две книжки. Тех, на чьи плечи, как выразился один из приглашенных, завтра ляжет то, чем занимается нынешняя администрация Союза писателей. Это значит, что они вот-вот могут стать «очень именитыми» и начнут сами производить «дележ листажа».

Надо все-таки познакомиться хоть с какими-то произведениями представителей «молодой литературы». Что, интересно, пишет тот, кто жаловался у самовара, что для него, как для писателя, за 25 лет никто ничего не сделал? Узнаю, что он выпустил сборник рассказов и критических статей тиражом в 50 000 экз. и книжку в «Б-ке «Огонек» тиражом в 80 000 экз. Надо прочитать. Заодно познакомиться с кем-нибудь из поэтов. Тут мой выбор был случаен. Увидела в магазине тоненький стихотворный сборник с портретом автора. Знакомое лицо! Где я его видела? Ах, вон где: тоже сидел у самовара.

Начем с прозаика. Сергей Лыкошин. «За белой стеной» («Современник», 1984 г., тираж 50 тыс. экз). В первом рассказе мы знакомимся с дипломатом по имени Олег. Он работает за рубежом и с тоской по Родине борется вот каким рассуждением: «Я профессиональный дипломат. Я должен понимать, что мое дело — отстаивать интересы Отечества в пределах чуждых — такое же необходимое, как и дело врача, военного, учителя».

В город приезжают на гастроли наши артисты и среди них Стас — друг юности Олега. Олег мечтал в беседах с другом «отвести истосковавшуюся по родным местам душу». Но, увы. Не нравится Олегу поведение Стаса, попавшего за рубеж. «Олег сегодня поймал этот взгляд, пристально рассматривающий какие-то безделушки на полке книжного шкафа. Взгляд недобрый, с оттенком обиды. Бесконечные разговоры о бараклах... восхищение мертвыми камнями и витринами...»

О каких «мертвых камнях» речь — непонятно. Остальное понятно. Стас: а) завидует убранству квартиры друга; и б) восхищен зарубежным изобилием. Олег-то «знал цену этим лощенным мостовым, забытым товаром магазинам, аккуратным прическам и холодным глазам». А Стас при виде «лощенных мостовых» и всего прочего такой же моральной выдержки не проявляет. Хуже того, «что за уничиженность в этих беседах с приехавшими из западного сектора театральными оболтусами из полупорнографического и никем не посещаемого театра!» Итак, Стас, очутившись за рубежом, не сумел сохранить присущее нашему человеку достоинство и заискивает перед оболтусами только потому, что они живут на Западе среди изобилия. А главное, Стас за время пребывания на Западе не испытывал тоски по Родине! «Кто-то, кажется, Стефан Цвейг, говорил (вспоминает Олег), что у русского человека ностальгия начинается в тот момент, когда он переезжает границу и покидает Родину... Бред! Как весел, больше того, счастлив до бестактности, до неприличия был все эти дни Стас».

Не прав Стефан Цвейг! Вот Стас. Если он иной раз и падал духом, то только от зависти, а так все время веселился. На вокзале в день отъезда: «Дурачился... рассказывал глупейшие анекдоты и ничем не выразил ни малейшего сожаления в связи с предстоящей разлукой. Олег-то знает эти минуты, как не терпится сесть в вагон поезда и не спится ночью до самого приезда в Брест... Нет, молодой парень из их труппы, кажется, Виктор, вел себя куда достойнее. У него хоть какая-то грусть все время в глазах была».

Итак, Олегу хочется, чтобы его старый друг все дни пребывания в городе ходил «хоть с какой-то грустью в глазах»? Но если сам Олег утешает себя тем, что отстаивает интересы «Отечества в пределах чуждых», то и Стас мог утешаться этим же. Он явился в эти «пределы» работать! «Грусти в глазах» еще можно требовать от туристов — эти-то на Западе ничего не отстаивают, а едут исключительно развлекаться.

Ну, а почему же Олега раздражает веселье Стаса на вокзале? В этот радостный день, когда такие, как Олег, от счастливого предвкушения встречи с родными местами не могут заснуть до самого Бреста, в этот-то светлый день почему не повеселиться? Олег обижен, что старый друг «не выразил ни малейшего сожаления в связи с предстоящей разлукой». Но, может быть, Стаса так радовала предстоящая встреча с Родиной, что он и с другом расставался без сожаления? Уж это-то Олег мог понять и простить? Но нет! Он не прощает Стасу ни веселья во время пребывания на Западе, ни веселья в день расставания с Западом. Чем это объяснить?

Но был ли Олег? И Стас был ли? Не вызывают доверия эти персонажи! Произведение, здесь цитированное, явно не имеет отношения к художественной прозе. Оно скорее напоминает инструкцию, адресо-

ванную бюрократом гражданам, выезжающим за границу. Им предписывается: ходить с грустью в глазах, на витрины не пялиться, на шею чужеземцам не кидаться. А вот как вести себя на вокзале в день отъезда на родину — четких указаний нет.

Прочитаем еще рассказ... Некий Мещеряков решил остаться холостяком. Почему же он избегает брака? Автор объясняет это тем, что Мещеряков не хотел иметь детей. Сам он вырос без отца, очень страдал и завидовал сверстникам, у которых отцы были. «Именно поэтому, от жестокой сердечной тоски, пережитой в детстве, решил он исключить из числа возможных вариантов с мукой его ребенка».

После варианта с мукой ребенка у меня исчезло желание продолжать знакомство с произведениями прозаика. Перейду к поэту. Борис Маслов. «Письменный подоконник» («Молодая гвардия», 1986 г., тираж 6 тыс. экз):

Взгляд ветерана строг и светел,
Он на войне героем был,
Но нам сказал, что не заметил,
Как немца первого убил.

...Служил Гаврила хлебопеком
Гаврила булку выпекал...

Прошу прощения, «Гаврила» тут ни при чем. Почему-то вдруг вспомнился. Продолжим стихи:

...от страха. И потом сурово
глядел на наш притихший класс.
И рассказал нам про второго
все, как запомнил. Без прикрас...

Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил...

Опять Гаврила! Почему стихи молодого поэта упорно вызывают к жизни Гаврилу? Опасаясь его нового появления, я не буду цитировать последнюю строфу. Речь идет о том, что ветеран рассказывал школьникам правду о войне, не щадя их нежных детских душ. «Но о войне и надо так!» — восклицает автор.

А вот о ветеране «надо ли так»? Плясовая интонация, уместная для рассказа о похождениях Гаврилы, совершенно непригодна для той задачи, какую пытался поставить перед собой поэт. Поэт ли?

Вот еще стихи.

Написал он о многом
За месяц в больнице,
А оставил: «...у окон
Побиралися птицы...»

Он замучил соседей своих сквозняком,
От окна оттолкнул одного старика
И почти что подрался с другим стариком,
Замахнулся... но руку сдержала строка.

Написал он о многом
За месяц в больнице
«Трам-па-пам-па... у окон
Побиралися птицы».

Но если из всего им написанного он всего и оставил «трам-па-пам-па... у окон побиралися птицы», а остальное самокритично отбросил, то каково же было это остальное? И интересно, между прочим, какая именно строчка удержала руку лирического героя, замахнувшегося на старика? А впрочем, неважно! Какая бы она ни была, благодаря ей старика не побили, и то слава богу!

Допустим, что две мной прочитанные книжки нетипичны. Такие попались, не повезло. Тем более что последнее время в журналах стали появляться новые имена, сразу обратившие на себя читательское внимание. Каков возраст этих одаренных авторов? Не знаю. И читателю до этого дела нет. Ибо не было в России такой категории — «молодая литература». Другое было: либо человек имеет право называться «писателем», либо не имеет. Это право заслуживалось только одним: достоинством произведения. Талантом. «Таланту ничего не нужно!» — говорил Твардовский. Это значит: талант повышенного внимания к себе не требует, рукописи свои не «пробивает», путь к читателю ищет САМ. А ведь многие из тех, кто выступал у самовара и на трибуне, только тем и занимались, что требовали, обвиняли, жаловались, да еще объявили о существовании «проблемы молодых», решение которой зависит от отношения к НИМ!

Так смею ли я, ознакомившись всего с двумя книжками, делать какие-то выводы? Смею. И вот почему. Скажите откровенно: можно ли, имея за душой такие тексты — выше цитированные, чего-то требовать? А требуют! И требования удовлетворяются. Издают эти тексты, не жалея на них «листажа» и заодно не жалея читателя. И кто мне поручится, что среди произведений других выступавших мы не найдем ничего по-

хожего? Ведь, судя по языку, каким некоторые из них выражали свои мысли, такое подозрение не беспочвенно. Между прочим, один из выступавших у самовара сообщил, что, готовясь к чаепитию, он просмотрел 167 книг молодых поэтов, и все они являются «совершенно одинаковыми». В этом он винит издателей, которые «не дают молодым открывать и открываться», но меня в этом сообщении поразило другое: цифра. Подумать только! Членов Союза писателей свыше десятка тысяч, а недавно возникших и уже издающих свои книги поэтов — чуть не две сотни!

Как это объяснить? Быть может, литературный дар сегодня уже не является непременным условием для того, чтобы числиться в писателях? К образованию, видимо, тоже особых требований уже не предъявляют?

Попробуем разобраться.

* * *

Представителей «молодой литературы» просили помогать воспитывать подрастающее поколение. А вот как их самих воспитывали? Каковы были литературные нравы в годы молодости тех, кому сейчас под сорок, и в годы ранней юности тех, кому под тридцать? Что говорилось вокруг них? Что они слышали?

А слышали они о том, как богато живут писатели. Не все, конечно, а те, кто занимает ответственные посты: члены секретариата СП, директора издательств, главные редакторы журналов. «Писатель без власти — никто!» Эти слова я услышала из уст жены одного из секретарей СП, а заодно и главного редактора толстого журнала. В те годы, более двадцати лет назад, эти слова меня рассмешили. Скоро я поняла: смеяться было рано.

Этот главный редактор в подведомственном ему журнале печатал свой многостраничный роман — вторая половина 60-х годов. Однажды, зайдя в редакцию этого журнала, я услышала рыдания. Раньше мне не приходилось слышать, чтобы в рабочее время, на рабочем месте так отчаянно рыдали, а главное, все вокруг спокойны, на помощь никто не кидается, смех, разговоры, машинки стучат. Спрашиваю: что это?

— А-а, — отвечают, — это наша сотрудница. Рукопись главного читает и правит. Работа тяжелая, требует уединения, ей и выделили уголок под лестницей.

— Но почему?

— А у нас редакторша первоклассная. Главный ее ценит, боится, как бы в другой журнал не переманили, вот и избавил ее от предварительной работы. Эту бедняжку засадили вычитывать и ошибки исправ-

влять. Целые абзацы приходится переписывать! Еще хорошо, если поймешь, что автор сказать хотел, а бывает, и понять-то невозможно! Видно, опять на такой абзац наткнулась, нервы и не выдержали. Вторую неделю под лестницей сидит.

Рыдания смолкли. Значит, страдальца какой-то выход нашла и успокоилась. Я представила себе маленький стол, втиснутый в уединенный уголок под лестницей, и эту мученицу, склонившуюся над рукописью, над исчерканной, над залитой слезами рукописью...

Начало восьмидесятых. Сидя в поликлинике (очередь к врачу), я услышала, как одна писательская жена хвастается другой писательской жене:

— Мой-то! Четырехтомник себе в Гослите выбил!

А другая фальшивым голосом сказала, что очень рада и поздравляет. И я подумала, что худо придется сегодня мужу этой другой. Много чего он услышит, вроде: «Сидишь как пень! Под лежачий камень... Некоторые вот умеют... А чем он лучше тебя? Да позвони ты такому-то, он же тебе обещал!»

Кое-что, значит, я слышала своими ушами. И все же с трудом верила слухам, ходившим о тех, кто занимает посты, — о «наиболее именитых» и «очень именитых».

Говорили... Что один из них, например, свои многотомные романы печатает: а) в толстых журналах, б) отдельными изданиями, в) в «Роман-газете», г) в томах «Избранного» и д) в собраниях сочинений. Все это переиздается в национальных республиках на двух языках: на родном и на русском. Тиражи многомиллионные. Издается трехтомник «Избранного» и жены именитого миллионщика. Включились и дочки. Старшая переводит с языков народов СССР (толстые журналы, отдельные издания, «Роман-газета»), младшая... Младшая, кажется, тоже что-то пишет...

А вот что говорили еще об одном... Пока он не стал «очень именитым», держал себя скромно, писал иногда в газеты статейки... Но вот он занял пост директора издательства и сразу ринулся в художественную литературу. Роман написал. Повести. Рассказы. Все это объединил в один сборник. Сборник будто бы несколько раз выпустили все существующие в Москве издательства, а вскоре включились и издательства периферийные. И будто только в одной Москве тираж сборника превышает миллион экземпляров! Я отказывалась этому верить. Быть не может! Да каким же образом?

Мне отвечали:

— Очень простым. Например: в одном московском издательстве работает его сноха или невестка, черт, я вечно в этом путаюсь, короче: жена сына. Значит, наш директор издает у себя книги начальника этой снохи, а начальник пробивает у себя произведения директора.

— А сноха-то при чем?
— Через нее связь установили. Тем временем деверь сына директора...

— У мужчин, кажется, не девери, а шурины. Впрочем, я сама в этом нетверда...

— Неважно! Какой-то, в общем, родственник, так вот он... А что касается периферии, то наш издает ихних директоров, а они — нашего. Теперь, значит, свояченица редактора толстого журнала...

Голова шла кругом от этого хоровода родственников и свойственников. Я долго не верила. Но наша печать постепенно приучала меня верить в эту поразительную пробивную силу «очень именитых». Я имею в виду статьи, посвященные их творчеству.

Вот, например, едва успела выйти книга одного из них, как толстый журнал посвятил отклику на это произведение 14 страниц: две колонки, шрифт мелкий. Много интересного узнаем мы об этом писателе...

Его «основная характеристическая черта» — «нераздельность художника и мыслителя...» В его произведениях «поэзия чудным образом произрастает из самой жизни, наполняясь глубоким философско-психологическим содержанием, трепетным человеческим чувством и беспокойно ищущей мыслью».

В статье помнят Флобер, советовавший пристальнее вглядываться в его произведения. Нам же советуют столь же пристально вглядеться в творчество рецензируемого писателя. «Однако недостаточно лишь пристально вглядеться, надобно, по словам великого Гоголя, много «глубины душевной, дабы озарить картину», взятую из жизни, и «возвести ее в перл создания».

От кого же, боже мой, требуется душевная глубина? Не от нас же, читателей! Ведь мы ничего не озаряем и в перл создания не возводим. Нам бы только суметь пристально вглядеться, а возводить в перл — дело не наше. Автор статьи неясно выразил тут свою мысль. Но сам-то он вгляделся и взволнован: «Уже с первых строк покоряет, властно захватывает... пиршество красок и звуков, блистание природы, ликование жизни... «Искусство высокого класса...»

Внезапно на сцене появляется древнегреческая трагедия. «Она... и сегодня потрясает нас... Проходит время, является новый художник и творит иную трагическую ситуацию».

Следует обширная цитата из рецензируемой книги. Но внезапно автор статьи прерывает себя: «Опускаю два абзаца — не могу, сердце болит... Продолжаю следующий...»

Боль, пронзившая сердце критика, говорит о том, что наш современный писатель не хуже древних греков умеет ранить души трагедией.

Еще обширная цитата: приводится описание печального события — похорон. «Согласитесь, — с дружеской доверительностью обраща-

ется к читателю автор статьи, — во всем этом есть нечто от Реквиема Моцарта с его мужественной скорбью...»

Прямое отношение к нашему писателю имеет и Шиллер, сказавший, что «истинное искусство только то, которое доставляет высшее наслаждение». А также Гораций: этот советовал примешивать «к своей мудрости немного безумия».

Легко догадаться, что писатель, о ком тут речь, и высшее наслаждение умеет читателю доставить и, чтобы не слишком утомлять его своей мудростью, умеет вовремя примешать к ней немного безумия: «...сверкает... ослепительной искрой, разряжая напряженную обстановку» — как сказано в рецензии. К тому же наш писатель «улыбчив», не чужд юмора. В его юморе «слышится только ему присущая смысловая интонация, мягкая, душевная, прозрачная и ободряющая». Тут на сцену выводят Лескова, Сервантеса и Достоевского. Ибо в юморе писателя «есть нечто от смеха Лескова — доброго, искреннего, с искоркой лукавства и затаенной грусти, много думающего человека». А Сервантес с Достоевским в своем творчестве «отразили две стороны бытия — комическую и печальную». Это же отражает и наш писатель.

Да и жанр, в котором он недавно стал работать, — жанр особый. Ну, «любитель аналогий... может отыскать... и нечто из «Диалогов» итальянца Джакомо Леопарди, из произведений француза Бертрана, даже из древнейших памятников арабской художественной культуры и так называемых стихов Библии...» Ко всему этому добавляют, что и наш родной И. С. Тургенев в этом же похожем жанре что-то там писал, однако так, да не так! Ведь это писатели разных эпох! А значит, о жанре современного писателя «можно говорить... как об оригинальном жанре, не имеющем аналогов в русской литературе».

А что это значит — быть оригинальным? Разъясняют: «Например, с точки зрения Канта, оригинальность должна быть первым свойством гениальности...» Следом упомянуты Гете и Л. Н. Толстой — им тоже удавалось быть оригинальными.

Вот на этом, думается, автору статьи следовало бы остановиться: дальше идти уже некуда! Но, оказывается, есть куда! Оказывается, наш писатель еще и умеет «опережать общественное сознание...» «...Это свойство великих мастеров. В равной мере оно характеризует и комедии Аристофана, и «Аппассионату» Бетховена, «Войну и мир» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова».

Эти выразительные цитаты, доказывающие нам, что рецензируемый автор — «великий мастер», а короче говоря — гений, я почерпнула из статьи «Необычная книга, или Рождение нового жанра», посвященной творчеству Ю. Бондарева. Автор статьи Н. Федь. «Наш современник», № 5, 1987 год.

Но ведь вопрос о том, кто гений, а кто не гений, решает время. Так было принято и у нас в России, и в других странах мира. Кому из фило-софов, писателей, композиторов, столь расточительно тут упоминаемых, доводилось при жизни читать о себе что-либо подобное? Кому? Данте? Горацию? Флоберу? Канту? Моцарту? Гоголю? Сервантесу? Достоевско-му? Кому, я спрашиваю, кому?

А впрочем... Если заглянуть в глубь веков, то нечто подобное — в смысле безудержных похвал, расточаемых в лицо живому автору, — оты-скать можно. Император Нерон, как известно, играл на лютне и испол-нял песенки собственного сочинения. Этим искусством громко восхища-лись придворные и прочие приближенные лица. И тоже никакой меры в своих восхвалениях не знали...

* * *

Долгие годы многое в их деятельности было покрыто завесой тай-ны. Теперь, когда наступило время гласности, эта завеса то там, то сям приподнимается...

Из статьи «Авторы и тиражи» («Известия», июль 1987 года) мы по-знакомились с цифрами тиражей некоторых авторов. А еще в статье сказано, что «прижизненные собрания сочинений и тома «Избранного» превратились в настоящий бич издательств. Например, в XII пятiletке этой чести предполагается удостоить 820 литераторов! Более восьмисот живых классиков!» Автор статьи считает, что издательскому делу необ-ходима гласность. Только она поможет устранить «перекосы» в этом де-ле и «бесконтрольное тиражирование уважаемых авторов».

В интервью, данном журналу «Огонек» (№ 34, 1987 г.), Габриэль Гарсиа Маркес заявил: «Мне рассказали, что мои книги исчезают, не до-ходя до посетителей книжных магазинов, и возникают на черном рын-ке... Честно говоря, я не понимаю, как все это происходит».

Откуда же ему понять? У них, на Западе, делается так. Заключив договор с автором, издатель платит ему аванс, а затем 10% с каждой проданной книги. Если книга разошлась — печатают новый тираж. А ес-ли нет? Плохо издателю: он теряет деньги. Не сладко и автору: на один аванс далеко не уедешь. Таковы жестокие нравы мира чистогана.

Наши издательства и лица, их возглавляющие, а также авторы сво-бодны от таких ударов судьбы. Наш свободный издатель может назна-чить любой тираж, хоть миллион. А если «Роман-газета» — то и три мил-лиона. И пусть все это пылится на полках — с издателя как с гуся вода: убытки ему возместит государство. Оно у нас велико и обильно, и не то ему приходится выдюживать. И с автора как с гуся вода: свои полистаж-ные и потиражные он получит. Плохо только читателю.

Обездоленный читатель ищет выходы. Много рассказов мне довелось слышать на эту тему. Вот один из них.

«Электричка с такого-то вокзала. Езды 25 минут до станции такой-то. Выходите. Повернете налево и увидите цепочку людей. Молча идите за ними. Упретесь в лесок небольшой, но густой. Тропинка выведет на лужайку. Народу там бывает порядочно, но очень тихо. Одни на траве сидят — это продающие. Другие неспешно прогуливаются — это покупающие. Да! Не забудьте заранее написать на картонке крупными буквами, лучше всего тушью, какую книгу вы желаете купить. Держите картонку в опущенной руке, но так, чтобы текст был виден сидящим. И гуляйте спокойно. Пока вас не остановит легкое посвистывание...» «Милиция?» «Нет, что вы! На это дежурные выделены, в лесу разбросаны. Как завидят милицейскую форму — предупреждают. Тоже, говорят, свистят, но громко и на какой-то мотив. Мне этого слышать не пришлось, везло! А легкий посвист означает: есть ваша книга, есть! Шепотом называют цену. Торговаться не рекомендуется».

Тут обычно рассказчик воодушевляется и сообщает вам, какие прекрасные книги удавалось ему этим способом приобретать. И не какие-нибудь эдакие, в смысле не наши, а наши, наши, родными издательствами изданные, но тиражами, спрос не удовлетворившими. Бойко идет подпольная торговля. Есть, говорят, варианты зимние. Есть на случай ненастной погоды... А если вдруг милиция? Летом понятно. Можно прикрыть книги рюкзаками, сесть на них и хором затянуть что-нибудь классическое, вроде: «Выхожу один я на дорогу...» Собрались, мол, песни петь. А зимой как?

Там вот и торгуют книгами Габриэля Гарсиа Маркеса, о чем он слышал, не веря своим ушам. А минувшим летом, быть может, на лужайках хорошо расходилась подписка на сочинения Бунина. Не всех членов Союза писателей их родная Лавка смогла этой подпиской обеспечить, что обычно и бывает с книгами, пользующимися спросом. Очереди. Волнения. Мольбы. Проклятия. Лишь пройдя через это, да и то не всегда... А как быть тем, у кого этой Лавки нет? А тем, кто живет на периферии?

Но все же: куда деваются штабеля некупленных книг? Габриэлю Гарсиа Маркесу ни за что бы не догадаться! А я знаю. Вернее, подозреваю. В макулатуру они уходят! Подъезжает к магазину с черного хода грузовик, затем, нагруженный книгами, едет... Куда именно — не знаю. И где, в каких подвалах, какие люди вынуждены заниматься этим производительным трудом — уничтожать ненужные книги, превращая их в нужную макулатуру?

А ведь подтвердились слухи о директоре издательства! Ему «за проявление нескромности и нарушение этических и нравственных норм, выразившееся в многочисленных изданиях и переизданиях своих

книг...» секретариат правления Союза писателей объявил выговор («Литературная газета», 26.VIII.1987 г.)

...Недавно по телевизору нам показали борьбу милиции с «несунами». Волнующие сценки! Камера следит за человеком, укравшим на фабрике коробку конфет. Человек стоит на улице, стремясь продать конфеты кому-нибудь из прохожих. Вот один остановился...

— Неужели купит? — слышен голос журналиста, участника этой милицмейской затеи. В голосе волнение. Боже мой, неужели этот прохожий, такой приличный на вид, явно отец семейства, неужели же он купит ворованное, из-под полы продаваемое, нарушая этим наши этические и наши нравственные нормы? Неужели? Купил! Ату его! Свет юпитеров на него или на нее, купивших краденое! К позорному столбу их! Допрашивайте их прямо на улице! А что касается «несуна»...

Да вот, кстати! Их-то, «несунов», мелких воришек, их как наказывают? Тоже выговором? Или более чувствительно? Как? Хотелось бы знать!

А я вот думаю, почему бы милиции вместе с телевидением не направить свой светлый луч в то темное царство, где идет уничтожение миллионов нераскупленных книг? Это было бы волнующее, а главное — новое зрелище! Ведь «несунами» и милиция, и печать уже давно занимаются. А вот деятельность «очень именитых» лишь сейчас понемногу становится достоянием гласности.

Пусть понемногу. И на том спасибо.

В «Литературной газете» (1.VII.1987 г.) опубликовано «Письмо в редакцию» за двумя подписями. Там сказано, что в минувшем году одиннадцатым изданием вышел в свет роман одного из «уважаемых авторов». Этим нас не удивить. Мы уже знаем, какой урожай умеют собирать «очень именитые» с одной-единственной книги. Но интересная подробность! Роман исторический, действующие в нем лица не придуманы. Авторы письма не берутся судить, «почему критика в течение многих лет обходила эту книгу, но незнание автором исторической ситуации бросается в глаза буквально в каждой прочитанной главе».

Почему молчала критика? Но это же элементарно! Произведения не исторические восхвалять легко — как мы убедились! — дескать, я так вижу, мое прочтение! Но если автор берется за историю и на каждом шагу врет, тут сложнее. Хвалить опасно: надо ли привлекать внимание к этому сомнительному произведению? Но и ругать «очень именитых», уличая их в невежестве, еще опаснее! Лучше промолчать. Что критики и делали. Лишь недавно, узнаем мы из письма, в период гласности, когда мы все так расхрабрились, «Военно-исторический журнал» отважился сообщить «о многих ошибках и неточностях» романа. Вот одна из «неточностей»...

Два персонажа романа, люди, реально существовавшие, были когда-то несправедливо осуждены, но давно реабилитированы. «Роман же, автор которого до сих пор ничего не сделал для восстановления истины, по-прежнему бросает тень на этих людей».

Итак, в первых изданиях романа два исторических персонажа ходили с клеймом «врага народа». Официальное признание в том, что никаких преступлений они не совершали, не помогло. Клеймо осталось во всех изданиях романа, включая одиннадцатое, прошлогоднее.

Автор счел нужным дать объяснения («Литературная газета» 30.IX.1987 г.)... Дело в том, что над своим романом «Грозный год — 1919-й» он начал трудиться еще в конце сороковых годов. Ну, а в те времена искажал историю не он один. Кого-то из действующих лиц не разрешалось упоминать вообще, другие же числились во «врагах народа». Доступ в архивы закрыт, и вообще писатель был связан по рукам и ногам. Значит, не виновен?

Но простите. Речь-то идет о последних переизданиях, а самое из них последнее: 1986 год. Почему же автор не задумался над изменениями, происшедшими в репутации его героев за сорок, боже мой, лет? Почему?

А я думаю вот почему. Недосуг ему было свое произведение перечитывать, а тем более исправлять. Надо было засадить за чтение и исправление какую-нибудь из сотрудниц возглавляемого им журнала. Вот пусть бы она, бедняжка, сидела бы, проверяла бы, плакала, снова проверяла... Но не догадался. А у самого времени в обрез. Одни хлопоты о переизданиях сколько сил отнимают!

Тебя переиздают, а ты в своем журнале печатаешь либо произведение самого директора издательства, либо жены его, либо сына, либо дочери. Где тут найти время для перечитываний и исправлений?

Да. Я забыла назвать автора романа «Грозный год — 1919-й». Это Г. К. Холопов.

* * *

А теперь скажите, чего можно ждать от молодых, пусть и сорокалетних, живших в обстановке подобных литературных нравов? Безвременье, вызванное многолетним застоем во всех областях, набравшая силу и уверенность в безнаказанности бюрократически-коррупционная система — это воспринято некоторыми молодыми как норма. А слова «писатель без власти — никто» — как аксиома.

Летом 1970 года я услышала из уст Твардовского врезавшиеся мне в память слова: «Они писать не умеют, но им это и не нужно». Это было сказано о нескольких членах Союза писателей, занимавших «посты».

Лето семидесятого года. «Нового мира» Твардовского больше нет.

На страницах этого журнала впервые появились произведения тех авторов, имена которых ныне известны всем. Правда «очернительской» быть не может, «одна неправда нам в убыток» — таков был принцип журнала, любимейшего журнала всех мыслящих людей страны. В своем отделе критики журнал бескомпромиссно выступал против всяких подделок под литературу, невзирая на посты сочинителей...

Вот одна из причин, почему так страстно сражались против «Нового мира» тогдашние силы торможения, расчищая себе дорогу. И одержали победу. «Новый мир» свое существование прекратил. Спокойно стало. Тихо. Никого не опасаясь, ни на кого в испуге не косясь, стало возможно публиковать какие угодно сочинения. Литературный уровень снижался на глазах. Образовалась целая каста «неприкасаемых» авторов. Мнимая литература, серая литература заявляла о себе все громче и росла, поглощая тонны бумаги. В издательствах целые семейные кланы возникали. Да что тут говорить...

И глядите! У тех, кому оттепель, наступившая после XX и XXII съездов, не по нраву была, не по силам, не по способностям, появились наследники. То время — с чужих, видимо, слов — они называют «попустительством» и появлением «ползучей фронды». Не нравится им — а это уже на собственном опыте — и то, что делается в стране сегодня. Они это называют «погоней за сенсациями». И вообще — им этого не нужно.

А ведь казалось бы... Кончился период немоты и лжи. Можно вслух говорить о том, что было, и о том, что есть. Какой простор для литераторов! Сколько всего они могут сказать того, о чем нам говорить было заказано. Однако их больше устраивает положение дел, сложившееся в последнее десятилетие. Оно проще. Тут главное не пером владеть, а уметь «пробивать» свои писания. Тут не по достоинству будут оценивать твои сочинения, а по тому, КТО за ними стоит. Не писать тут надо уметь, а стараться овладеть одним-единственным оружием, но оружием бесценным — властью.

По-видимому, слова «Проблема молодых начинается с отношения к нам!» означают: подвиньтесь-ка вы, старшие! Поделитесь с нами властью. Пора: ведь вы ею уже попользовались, дайте и нам. Да и время: вам уж немного осталось!

Итак, выступления большинства представителей «молодой литературы» у самовара и на трибуне надо понимать, я думаю, вот как: в борьбе за право писать плохо включились свежие силы.

СОДЕРЖАНИЕ

Сказки Брянского леса	5
Катя за границей	14
Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты»)	18
Здравствуй, племя младое, незнакомое...	45

ИЛЬИНА Наталия Иосифовна

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

Литературные фельетоны

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 10.02.89. Подписано к печати 06.04.89. А 04426. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80.
Усл. кр.-отт. 2,98. Уч.-изд. л. 4,11. Тираж 150 000 экз. Зак. № 266. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

● Большой популярностью среди населения пользуется страхование от несчастных случаев, предусматривающее выплату страховой суммы за последствия травм, которые могут произойти на производстве, в быту, во время занятий спортом и т. д.

● Договоры заключаются с лицами в возрасте от 16 до 74 лет сроком от 1 года до 5 лет, но не далее достижения ими 75-летнего возраста на момент окончания договора.

● Страховая сумма устанавливается по согласованию между страхователем и инспекцией госстраха.

● Страхователю, заключившему договор страхования сроком от 3 до 5 лет, предоставляется скидка с исчисленного взноса в размере от 5 до 15%.

● Страховой взнос может быть уплачен либо наличными деньгами, либо путем безналичного расчета.

● Узнать подробную информацию об условиях страхования и заключить договор можно в инспекции государственного страхования или у страхового агента.

**Правление государственного
страхования СССР**